



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



1532 n/70

ВОСКРЕСЕНИЕ
У ГР. ТОЛСТОГО И Г. ИБСЕНА

А. Андреевой.

Васерману Андреевичу

Урнинск

13.10.1907

Милостивейший

Васерману Андреевичу,

благодарю за искренно
полученное сведение о Ва-
шинге. Знаю, что Ваши-
нгеры трудятся усердно.
Рано и не рано собираются
всена в Соколышки, но
была очень ленива. Задум-
ка моя - чтобы рассмотреть
и рассмотреть Ваши-
нгеров и получить
подробности о Ваши-
нгах.

Вашинск

Receptionary Appendix

by
Thayer

Васерману Александру
Тимофеевичу

Мартъ 1904.

ВОСКРЕСЕНІЕ

У ГР. ТОЛСТОГО И Г. ИБСЕНА.

Andreeva, Alexandra Aleksandrovna.

ВОСКРЕСЕНИЕ

у

ГР. ТОЛСТОГО и Г. ИБСЕНА

ОПЫТЪ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КРИТИКИ

РОМАНА „ВОСКРЕСЕНИЕ“
И ДРАМЫ „КОГДА МЫ МЕРТВЫЕ ПРОСНЕМСЯ“

А. АНДРЕЕВОЙ.



МОСКВА
ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФИИ А. И. МАМОНТОВА
ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. № 5.
1901

891.78
T65vn0
A56

Stacks
Ezekiel
Jehin Pub
12-16-71
901734293

ВОСКРЕСЕНИЕ

У ГР. ТОЛСТОГО И Г. ИБСЕНА.

Толстой. Ибсенъ. Это въ настоящее время неоспоримо двѣ самыя крупныя величины въ европейской литературѣ. Новый романъ гр. Толстого, новая драма Ибсена одинаково много читаются, одинаково волнуютъ собою мысль всего почти міра. Такое первенствующее ихъ положеніе въ литературѣ имѣетъ въ себѣ много общаго. Оба они—иностранцы для большинства европейскихъ читателей, т. е. оба пишутъ на языкахъ мало распространенныхъ и оба принадлежатъ народностямъ, литература которыхъ мало до ихъ появленія интересовала собою Европу. Это ихъ званіе иностранцевъ въ сильной степени, обуславливаетъ собою и ихъ значеніе для той Европы гдѣ все нивелирующая культура такъ давно и такъ тщательно сглаживаетъ въ человѣкѣ особенности его расы, темперамента и личнаго природнаго склада. Эти иностранцы,—хотя дѣти той же Европы и усвоили себѣ ея культуру,—являются

для нея однако чѣмъ-то новымъ, своеобразнымъ и яркимъ. Ихъ узнали въ Европѣ, когда на родинѣ они достигли зенита своей славы, узнали ихъ слѣдовательно вполнѣ зрѣлыми, самобытными и независимыми. Это-то и даетъ имъ власть надъ умами современниковъ. Правда, что эта власть и значеніе ихъ иногда сильно оспариваются; ихъ вліянію противодѣйствуютъ; даже самое вліяніе это отрицается; но ихъ, какъ властителей думъ, нельзя не знать къ ихъ голосу прислушивается вся Европа и для нея ихъ индивидуальная мысль заключаетъ въ себѣ; нѣчто глубокое, назрѣвшее въ настроеніи всего человѣчества, нѣчто со временемъ имѣющее быть отмѣченнымъ всемірною исторіею.

Для обоихъ характерно въ этомъ случаѣ то, что они — не только писатели художники въ тѣсномъ смыслѣ слова,—какими были, напр., Тургеневъ или Мопассанъ,—но они вмѣстѣ съ тѣмъ и обличители общественнаго зла. Отрицательно — сатирическое отношеніе гр. Толстого къ европейской культурѣ извѣстно. Ибсенъ, хотя никогда не мѣнялъ роли драматурга на роль публициста или проповѣдника, но и онъ въ 80-хъ годахъ прогремѣлъ въ Германіи, Англіи и Франціи не только какъ новаторъ въ сценическомъ искусствѣ, но и какъ отрицатель устоевъ общества: въ Норѣ (1879 г.) онъ выступилъ съ обличеніемъ семейнаго быта; въ Привидѣніяхъ (1881) онъ въ этомъ обличеніи пошелъ дальше; и еще дальше въ Врагѣ Народа (1882), гдѣ ополчился противъ лжи, проникающей собою весь соціально-политическій строй жизни. Въ этомъ обличеніи

онъ точно такъ же, какъ гр. Толстой, исходилъ изъ потребностей личной совѣсти. И для него корень зла лежалъ не во внѣшнихъ условіяхъ быта, а въ самой индивидуальности человѣка, въ проявленіяхъ его психики. Оба—и гр. Толстой и Ибсенъ—съ ясностью художническаго провидѣнія заглянули глубоко въ совѣсть современнаго человѣка и въ ней искали обоснованія для своихъ новыхъ идеаловъ. Что русскаго писателя это исканіе привело къ проповѣди религіозно-нравственнаго начала,—извѣстно. Норвежскій драматургъ, обличая зло, не указываетъ въ чемъ избавленіе отъ него: положительныхъ идеаловъ Ибсенъ не устанавливаетъ нигдѣ; но и у него *этический* мотивъ, жажда нравственнаго обновленія,—мотивъ больной совѣсти, ищущей спасенія,—проходитъ по всему творчеству. Можно даже сказать, что этическое начало—краеугольное основаніе,—очень глубоко иногда скрытое,—всего творчества Ибсена. Это несомнѣнно роднитъ его съ нашимъ писателемъ, а отсюда естественно вытекаетъ и общность ихъ интереса къ тѣмъ вопросамъ, которыми они обратили на себя вниманіе Европы.

Оба, обличая ложь и зло, царствующее въ обществѣ, натолкнулись прежде всего на бракъ и семью, какъ на первообразъ всѣхъ общественныхъ отношеній. Сперва Ибсенъ въ Норѣ возобновилъ Жоржъ-Сандовскую апологію женской личности, поработаемой бракомъ; затѣмъ онъ въ Привидѣніяхъ подвергъ сомнѣнію, опять въ обновленной формѣ, ненарушимость брачнаго союза. А послѣ него гр. Тол-

стой еще съ большею откровенностью, въ Крейцеровой Сонатѣ, проникъ въ глубь вопроса и обнажилъ его вплоть до самыхъ элементарныхъ основъ стихійно-животной природы человѣка. Оба поэта съ независимостью мысли, свойственною ихъ натурамъ, подходили съ разныхъ сторонъ къ вопросу любви и женщины; оба ставили и освѣщали этотъ вопросъ въ соотвѣтствіи съ контрастомъ ихъ убѣжденій и темпераментовъ и, наконецъ, оба послѣ полувѣковаго творчества встрѣтились въ прошломъ году на одинаковой темѣ: замыселъ романа „Воскресеніе“ составляетъ и тему драмы „Когда мы мертвые проснемся...“ Оба поэта изображаютъ тутъ нравственную смерть женщины, загубленной любовью—или вѣрнѣе эгоизмомъ—мужчины; оба показываютъ, какъ за гибель женской души мужчинѣ мститъ сама жизнь,— какъ гибнетъ онъ подъ гнетомъ зла и заблужденій и какъ, наконецъ, воскресають оба. Совпаденіе это не случайно. Но если въ выборѣ темы сказался у обоихъ авторовъ общій имъ интересъ къ вопросу личной нравственности, то въ обработкѣ ея находимъ тотъ глубокой антагонизмъ мысли и природнаго характера, который ставить этихъ сверстниковъ на двухъ полюсахъ умственной жизни.

Антагонизмъ этотъ сказался теперь особенно сильно уже потому, что оба произведенія — старческа и резюмируютъ собою длинную, сложную творческую работу; (Ибсенъ называетъ свою драму эпилогомъ; по объясненію нѣкоторыхъ критиковъ: эпилогомъ своей жизни); ни тотъ, ни другой пи-

сатель не вносятъ уже сюда новыхъ, небывалыхъ у нихъ мотивовъ творчества. Правда, прежніе мотивы комбинируются тутъ совсѣмъ заново; многое углубляется или видоизмѣняется; но совсѣмъ новыхъ сторонъ писательской личности мы здѣсь уже не находимъ. Мысль обоихъ писателей движется по твердо намѣченнымъ, установленнымъ путямъ; и норвежскаго писателя она приводитъ къ совершенно инымъ результатамъ, чѣмъ русскаго; результатамъ, настолько же несхожимъ, насколько несхожи были и пройденные ихъ творчествомъ пути. Несхожа у писателей и самая художническая натура ихъ: у одного она — преимущественно эпическаго склада, у другого — исключительно-драматическаго. Но какъ гр. Толстой вноситъ въ повѣствованіе тѣ мотивы внутренней борьбы, которые Ибсенъ постоянно разрабатываетъ въ своихъ драмахъ; такъ и Ибсенъ заимствуетъ въ эпосѣ ту склонность къ психологическому анализу и тотъ широкій захватъ мысли, которыхъ не зналъ до него театр. Въ зависимости отъ этого природнаго склада фантазіи находится и внѣшній объемъ этихъ произведеній и количество въ нихъ дѣйствующихъ лицъ. При двухъ персонажахъ, между которыми разыгрывается драматическій эпизодъ въ романѣ, гр. Толстой даетъ намъ огромное количество вводныхъ лицъ:—вспомните тѣ неизгладимыя изъ памяти читателя черты, которыми романистъ опредѣляетъ родственниковъ Нехлюдова, его знакомыхъ у Корчагиныхъ, его встрѣчи въ судѣ, въ острогѣ, среди арестантовъ, въ Петербургѣ у знакомыхъ, у родныхъ, въ Сенатѣ,

въ крѣпости, въ канцеляріяхъ, въ деревнѣ среди мужиковъ, въ Сибири на этапахъ, въ тюрьмахъ, среди политическихъ ссыльныхъ,—какая масса лицъ! Какая яркая характеристика каждого лица! Какой фонъ для картины душевной жизни героевъ! И какъ въ этой пестротѣ все сводится къ опредѣленному рѣзко-оттѣненному контрасту: съ одной стороны зла и неправды, царящихъ въ жизни; съ другой—правды и любви, оживающей въ сердцахъ героевъ. И притомъ зло и неправда такъ же просто и несомнѣнно могутъ быть устранены изъ жизни, какъ несомнѣнны и ясны тѣ протесты совѣсти, которыми авторъ надѣляетъ своихъ героевъ.

Совершенно обратное въ драмѣ Ибсена. Въ ней главныхъ персонажей тоже два и между ними то же разыгрывается драма нравственной смерти и воскресенія. Но здѣсь нѣтъ того общественнаго фона, на которомъ у гр. Толстого развертывается картина личныхъ чувствъ. За то любовная драма дополнена у Ибсена еще двумя участниками: женою получающею свободу и ея новымъ избранникомъ. И насколько въ романѣ гр. Толстого ясны и несложны любовныя чувства дѣйствующихъ лицъ, настолько же сложны въ драмѣ Ибсена взаимныя отношенія между героемъ и двумя любящими его женщинами. Эти отношенія сложны и глубоки; потому при сжатости драматической формы они мало выяснены, а для невнимательнаго читателя и совсѣмъ непонятны. А между тѣмъ, несмотря на эту сжатость формы, т. е. на отсутствіе фактическихъ подробностей и детальнаго анализа, персонажи характери-

зуются и самым діалогомъ и бѣглыми ремарками настолько опредѣленно, что общая идея драмы вполне выясняется. А все въ ней недосказанное тѣмъ сильнѣе возбуждаетъ фантазію читателя, заставляя его собственнымъ усиліемъ дополнять то, что въ видѣ отвлеченной схемы только намѣчено драматургомъ.

Эта схематичность формы при глубинѣ нравственной идеи, ее проникающей, даетъ просторъ не только читательской самодѣятельности, — (а этимъ и привлекаетъ Ибсенъ свою публику), — но не въ меньшей мѣрѣ просторъ и произволу толкователей. И комментаторамъ и критикамъ трудно воздержаться, чтобы не подставить въ эту схему по-своему понятое содержаніе; трудно оставаться въ предѣлахъ данной темы, когда ея очертанія такъ широки и расплывчивы. Въ этомъ случаѣ чрезвычайно полезна можетъ оказаться параллель съ темою, хотя и однородною, но разработанною, какъ у гр. Толстого напримѣръ, во всѣхъ подробностяхъ точно и ясно. Такое параллельное изслѣдованіе не только уясняетъ самую идею, но уясняетъ и отношеніе къ ней обоихъ писателей — моралистовъ. Что эта идея значительна и жизненна сама по себѣ; — а одновременная разработка ея этими писателями характерна для нашего времени, — доказывать мнѣ кажется излишне. Что же касается до контраста въ природѣ этихъ писателей, то контрастъ этотъ, самый антагонизмъ ихъ мысли дѣлаетъ эту параллель интересной и плодотворной по своимъ результатамъ. Только параллель эта влечетъ за собою

нѣкоторую опасность: какъ и всякое сравненіе она невольно даетъ поводъ къ сближеніямъ, не всегда логически правильнымъ, а, слѣдовательно, и къ натяжкамъ, подрывающимъ довѣріе къ критическому изслѣдованію. Во избѣжаніе такой опасности, я тѣсно ограничиваю свою задачу; довольствуясь разборомъ только идейнаго содержанія въ драмѣ и въ романѣ, я не сужу о томъ, *какъ* выполнена авторами взятая ими на себя задача; т. е. насколько вѣрны дѣйствительности изображаемые ими характеры, насколько они правдоподобны, послѣдовательны, вѣрны себѣ. Оттого, напр., я не смущаюсь неясностью въ обрисовкѣ такой героини, какъ Ирена;—не спрашиваю, возможно ли для Катюши возвращеніе къ честной жизни послѣ ея жизненнаго опыта и при ея наслѣдственныхъ задаткахъ (распутство матери, кровь отца, бродяги-цыгана) и т. п. Точно также приходится оставить въ сторонѣ и вопросъ о томъ, какъ совмѣщается идеалистическое настроеніе Ибсена съ художественными требованіями сценическаго произведенія; или вопросъ о томъ, какъ воздѣйствовали проповѣдническія намѣренія нашего писателя на силу и точность его изобразительнаго таланта. Мнѣ важно выяснитъ только тѣ задачи и то міропониманіе, которыя оба писателя вложили въ эти произведенія,—показать, *что* ими сказано, а не *какъ* оно сказано. Мнѣ могутъ только возразить, что, если устранить изъ критическаго изслѣдованія все относящееся до формы, до эстетическаго значенія сюжета, то очень легко попасть на невѣрный путь сужденій; потому что

содержаніе и форма такъ неразрывно слиты во всякомъ истинно-художественномъ произведеніи, что, выдѣляя въ романѣ и драмѣ ихъ нравственную идею, мы какъ бы взрѣзаемъ живой организмъ и производимъ безжалостную вивисекцію: мы обнажаемъ скелетъ, лишая его жизненной силы и красоты; мы искажаемъ, уродуемъ художественное произведеніе и слѣдовательно получаемъ о немъ неточное представленіе. Единственнымъ оправданіемъ тутъ намъ можетъ служить живучесть этихъ художественныхъ организмовъ: впечатлѣніе отъ нихъ у всѣхъ насъ такъ свѣжо и ярко; да и въ нашу мысль вошли они еще такъ недавно, что и по сухому ихъ остову, воспроизводимому анализомъ, никому не трудно одѣть ихъ мысленно присущую имъ въ дѣйствительности жизненностью и красотою.

Ж И З Н Ь.

Отмѣтимъ прежде всего тотъ оттѣнокъ религиозности, который придали этимъ произведеніямъ и гр. Толстой и Ибсенъ. Въ романѣ Толстого не только четыре евангельскаго текста служатъ эпиграфомъ, не только въ заключеніи приведена евангельская притча и общая мысль выражена ссылкой на эту притчу, но весь тонъ автора, самый характеръ его повѣствованія — обличительный, и притомъ рѣзко, негодующе обличительный. А обличеніе это имѣетъ въ основѣ своей фанатизмъ религиознаго убѣжденія, всецѣло теперь владѣющій авторомъ. И сила негодованія на условность и лицемеріе, — и жестокость въ обличеніи власть имущихъ, — и состраданіе къ жертвамъ несправедливости, — все вытекаетъ у романиста изъ его фанатической любви къ правдѣ. Эта любовь къ правдѣ заставляетъ его доискиваться самыхъ глубокихъ источниковъ нашихъ чувствованій и поступковъ; она же привела его когда-то и къ созданію собственнаго вѣроученія.

И это вѣроученіе теперь не можетъ не проникать собою мысль и наблюдательность художника. А у Ибсена отразилось въ драмѣ, если не вполне религиозное міросозерцаніе, то такое настроеніе, какое по возвышенности идеалистическихъ порывовъ можетъ граничить съ религиознымъ. Высота художественныхъ замысловъ, которыми надѣляетъ Ибсенъ своего героя,—ваятеля Рубека;—подъемъ духа въ художникъ при выполненіи имъ этихъ замысловъ; наконецъ самая основа его личного характера опредѣляются,—какъ мы сейчасъ увидимъ,—уподобленіями, заимствованными изъ христіанскаго вѣроученія. Этотъ религиозный оттънокъ свидѣтельствуешь конечно о томъ, какъ серьезно оба писателя вообще смотрять на свое творчество, а въ особенности какой глубокий смыслъ оба придаютъ избранной ими темѣ,—эпизоду весьма обычныхъ, казалось бы, жизненныхъ столкновеній. Уже самый терминъ „Воскресенія“, заключенный и въ заглавіи драмы „Когда мы мертвые проснемся“, оттъняетъ этотъ глубокий смыслъ. Какія понятія связываются у насъ со словомъ „воскресеніе“ или „возстаніе изъ мертвыхъ“?

По понятіямъ, привитымъ намъ церковью, за тою смертью, которою кончается земное существованіе и которая уподобляется *сну*, наступаетъ пробужденіе—воскресеніе изъ мертвыхъ и новая жизнь. Эта будущая жизнь и есть настоящая, къ которой теперешняя наша—только приуготовленіе. Она не похожа на земную тѣмъ, что въ ней всѣ получаютъ достойное воздаяніе за прошлое и находятъ, слѣдо-

вательно, ту высшую справедливость, какая на землѣ невозможна. Съ понятіемъ о воскресеніи связывается такимъ образомъ представленіе о лучшемъ мірѣ, гдѣ удовлетворится наша потребность правды и радости. Понятіе же о смерти, о смерти духовной, — противопологаемой воскресенію, вызываетъ представленіе о такомъ существованіи, гдѣ душевная наша жизнь — съ ея потребностями правды, свободы и радости — какъ бы не существуетъ, подавленная зломъ, ложью и страданіемъ.

И въ романѣ гр. Толстого и въ драмѣ Ибсена изображены тѣ моменты полного нравственнаго удовлетворенія человѣка, по которымъ мы можемъ судить, какъ рисуютъ себѣ оба автора лучшую жизнь, ожидаемую нами какъ Царство Небесное, или въ чемъ они видятъ, иначе говоря, идеаль жизни, идеаль будущаго. Тотъ подъемъ духа, который ставитъ человѣка выше всего временнаго и условнаго и который ощущается имъ какъ полнота жизни, какъ ея цѣльность и гармонія, испытываетъ герой гр. Толстого, Нехлюдовъ нѣсколько разъ въ теченіе романа. Какіе-же это моменты?

Это, во-первыхъ, его молодые годы, то лѣто, напр., когда студентомъ онъ гоститъ у тетюшекъ въ деревнѣ, пишетъ сочиненіе и влюбленъ въ Катюшу. Это — эпоха поэтической первой любви и умственного напряженія. Онъ переживаетъ тогда то восторженное состояніе, когда юноша „познаетъ всю красоту и важность жизни и всю значительность дѣла, предоставленнаго въ ней человѣку, видитъ возможность безконечнаго совершенствованія и сво-

его и всего міра и отдается этому совершенствованію не только съ надеждою, но и съ полною увѣренностью достиженія всего того совершенства, которое онъ воображаетъ себѣ¹. Это настроеніе зависитъ отъ свѣжести умственныхъ и нравственныхъ силъ юноши, а также и отъ полного незнанія имъ жизни. „Тогда міръ Божій представлялся ему тайной, которую онъ радостно и восторженно старался разгадывать“... „Тогда нужно и важно было общеніе съ природою и съ людьми, жившими, мыслившими и чувствовавшими до него (философами и поэтами).“². При свѣжести умственной дѣятельности въ немъ свѣжа и сила нравственного чувства: „Тогда онъ былъ чистый и самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дѣло...“³. Онъ былъ „одинъ изъ тѣхъ людей для которыхъ жертва во имя нравственныхъ требованій составляетъ высшее духовное наслажденіе“⁴; онъ не пользовался правомъ собственности на землю, полученную по наслѣдству, потому что не считалъ этого справедливымъ; правдивый, прямолинейный, рѣшительный, онъ не отдѣлялъ слова отъ дѣла⁵. Онъ тогда женился бы на Катюшѣ, еслибы сознавалъ, что любилъ ее:—внутреннихъ препятствій въ достиженіи того, что онъ считалъ добромъ и справедливостью, для него не существовало. Но и любовь, и женщина были для него окружены тою же тайной, что и

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 63. ² Стр. 71.

³ Стр. 71. ⁴ Стр. 65. ⁵ Стр. 151.

весь міръ; „Тогда женщина представлялась таинственнымъ и прелестнымъ, именно этой таинственностью прелестнымъ существомъ“¹. Такое наивное отношеніе къ міру: непониманіе себя и своихъ чувствъ, а также незнаніе людей и жизни—и притомъ вѣра въ могущество добра и правды, вѣра, не видящая всей силы злого и низменнаго въ душѣ человѣческой;—такое-то отношеніе къ міру и обусловливаетъ полноту духовной жизни въ юношескомъ возрастѣ. Но Нехлюдову это настроеніе знакомо было не только въ юношескомъ возрастѣ и не только съ дѣтскихъ лѣтъ, когда онъ молилъ Бога открыть ему истину и помочь сдѣлать всѣхъ людей счастливыми², — но и „во всѣ лучшія минуты жизни, когда онъ не чувствовалъ разлада между тѣмъ, чего требовала его совѣсть и тою жизнью, которую онъ велъ“³. Отдавшись той лжи, которая царитъ въ жизни, утративши наивность и чистоту души, Нехлюдовъ однажды съ горечью вспоминаетъ утраченное счастье. Это было послѣ того, какъ онъ, узнавши Маслову въ Судѣ, побывавъ у Корчагиныхъ, вернулся домой и все ему казалось въ жизни противнымъ—это всего было „гадко и стыдно“. Онъ вспомнилъ первую встрѣчу съ Катюшею: „Тогда онъ былъ бодрый, свободный человѣкъ, передъ которымъ раскрывались безконечныя возможности...“ „На него пахло этою свѣжестью, молодостью, полнотою жизни...“⁴. И вотъ теперь опять, стоило ему только,

¹ Тамъ же. Стр. 71. ² Стр. 317. ³ Стр. 153. ⁴ Стр. 151. и слѣд.

сознавши всю ложь своей жизни, сбросить съ себя эту ложь, какъ „онъ почувствовалъ не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовалъ все могущество добра. Все, все самое лучшее, что только могъ сдѣлать человѣкъ, онъ чувствовалъ себя теперь способнымъ сдѣлать“¹.

Эта бодрость, напряженность воли, ощущение радости и свободы даются подъемомъ чувства до степени религіознаго восторга: человѣкъ тогда непосредственно *вступаетъ* въ силу добра, прирожденнаго его душѣ, онъ *надеется* на проведеніе его въ жизнь, на собственное совершенствованіе, „передъ нимъ раскрываются безконечныя возможности“ и онъ *любитъ* человѣчество восторженной любовью. Тогда-то онъ ощущаетъ въ себѣ „то свободное духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вѣчно“².

Полнота этихъ чувствъ въ моментъ повышенной жизнедѣятельности и ясность нравственнаго сознанія даютъ Нехлюдову то удовлетвореніе, выше котораго человѣкъ ничего не можетъ испытать. Это— моменты высшей духовной радости, истиннаго блаженства; они-то и даютъ силу на примѣненіе этихъ чувствъ къ дѣятельной жизни и на подчиненіе всего существованія тому единому, истинному, вѣчному, что живетъ въ душѣ человѣка. Это могущественное начало въ человѣкѣ — личная его совѣсть; она-то и является для Толстого единственнымъ закономъ жизни, основой всего вѣроученія

¹ Тамъ же. Стр. 154—155. ² Стр. 154.

его. Удовлетвореніе совѣсти, полное и безпрепятственное удовлетвореніе нравственнаго чувства, т. е. потребности добра и человѣколюбія — вотъ идеаль гр. Толстого; вотъ въ чемъ для него проявляется Царство Божіе. Великій писатель не разъ изображалъ эти моменты духовнаго просвѣтленія у своихъ—героевъ: вспомнимъ князя Андрея, Пьера, Левина. Его собственное ученіе о жизни и Царствѣ Божіемъ разработано въ цѣломъ рядѣ произведеній достаточно извѣстныхъ; и въ этомъ отношеніи „Воскресеніе“ даетъ только новую иллюстрацію къ опредѣленному и законченному ученію. Но проповѣдникъ остается и тутъ вѣренъ правдивости и принципиальности художника: онъ не можетъ не указать въ своемъ героѣ въ моментъ его высшаго подъема духа, доходящаго до экстаза, то злое начало жизни, которое свойственно и людямъ высокаго полета мысли, а именно преувеличенное сознаніе своей личности, высокомеріе и гордость. Всѣмъ намъ памятно описаніе Нехлюдовскаго настроенія, когда онъ рѣшилъ жениться на Катюшѣ: на глазахъ его были слезы,—хорошія слезы радости и дурныя, „потому что онѣ были слезы умиленія надъ самимъ собою, надъ своею добродѣтелью“¹. Это самомнѣніе и самолюбованіе не отдѣлимы у Нехлюдова отъ всѣхъ его настроеній и поступковъ; какъ существенная часть его личнаго характера,—это обратная сторона его тонко-развитого нравственнаго сознанія. Въ теченіе всего ро-

¹ Тамъ же. Стр. 155.

мана высокомеріе и гордость борятся въ его душѣ съ добротою и человѣколюбіемъ: чѣмъ ближе онъ наблюдаетъ жизнь несчастныхъ, нуждающихся въ его помощи, чѣмъ усиленнѣе онъ борется съ жизнью за добро и правду,—тѣмъ яснѣе онъ сознаетъ себя съ своими злыми и добрыми свойствами, и тѣмъ усиленнѣе борется со зломъ гордости и эгоизма, присущими его натурѣ. Въ этой борьбѣ совершается воскресеніе его, возвращеніе къ лучшимъ чувствамъ молодости: въ трудѣ и заботѣ о другихъ онъ теряетъ преувеличенное мнѣніе о себѣ, забываетъ про себя и находитъ въ этомъ смыслъ и счастье жизни. Побѣдою добра и правды надъ гордостью и эгоизмомъ онъ не только самъ обновляется душою, но возвращаетъ къ жизни и загубленную имъ женщину.

Высокомѣріе, граничащее съ сатанинскою гордостью, кладетъ и Ибсенъ въ основу своего героя. Художникъ Рубекъ тоже испытываетъ восторгъ, полноту жизни и „безграничность великихъ возможностей“. Этого въ дѣйствіи, на сценѣ мы не видимъ; потому что всякая драма Ибсена есть только развязка жизненныхъ коллизій, возникшихъ за долго до начала пьесы. Оттого и здѣсь въ драмѣ „Когда мы мертвые проснемся“ эти коллизіи и характеръ героя очерчиваются не самымъ только дѣйствіемъ, но главнымъ образомъ воспоминаніями прошлаго въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ; и воспоминаніями въ самой краткой формѣ намековъ, недомолвокъ, восклицаній, бѣглыхъ репликъ и т. п. Только усиленно вдумываясь въ смыслъ и въ связь

этихъ разбросанныхъ по пьесѣ воспоминаній, можно возсоздать событія, обусловившія собою драму—развязку.

Вотъ какъ рисуется у Ибсена жизненная драма художника Рубека и ея глубоко-трагическое содержаніе. Одинъ характерный намекъ даетъ намъ ключъ къ пониманію нравственной личности Рубека. Намекъ это на евангельскій текстъ (Матвѣя IV, 8, 9; Луки IV, 5—7). „Дьяволъ беретъ Христа на высокую гору и показываетъ Ему всѣ царства міра и славу ихъ, и говоритъ Ему: все это дамъ Тебѣ, если падши поклонишься мнѣ“. Когда художникъ былъ еще въ школьномъ возрастѣ, онъ говорилъ сосѣдскимъ мальчикамъ, если хотѣлъ вызвать ихъ въ лѣсъ, въ горы для игры, что возьметъ ихъ на высокую гору, и покажетъ всю славу міра ¹ ². И фраза эта осталась въ его обиходѣ: когда онъ соблазнялъ женщину, онъ тоже говорилъ ей, что возьметъ ее на высокую гору, покажетъ славу міра и—раздѣлитъ ее съ нею. Та веселая, легкомысленная Майя, на которой онъ женатъ, была настолько умственно ниже его, что ей показать этой славы онъ не могъ,—она отъ природы, говоритъ онъ, не была способна къ восхожденіямъ, т. е. къ подъему духа;—по играть ею и ея чувствами, забавляться ея молодостью онъ могъ, правда недолго, пока она не надоѣла ему и онъ съ нею не утомился отъ своего

¹ Въ подлинникѣ стоитъ библейское слово *Herlighed*, по нѣмецки *Herlichkeit*, а русскіе переводчики говорятъ: кто—великолѣпіе міра, кто—чудеса и т. п. ² Указываю страницы перевода С. Полякова и Ю. Балтрушайтиса, стр. 16.

умственного одиночества. У него раньше были другія женщины, которыхъ онъ обольщалъ, заманивая, какъ и товарищей въ дѣтствѣ, тоже для игры, но для игры — въ чувства. И этою-то игрою онъ загубилъ душу когда-то любившей его Ирены, загубилъ и свою жизнь, свое творчество, свою душу.

Ирену онъ встрѣтилъ, когда поглощенъ былъ заботою воплотить свою идею въ статуѣ; идея была настолько серьезна, что въ воплощеніи ея онъ видѣлъ задачу своей жизни, а самая статуя должна была выдти шедевромъ и покрыть его имя славой. Ирена явилась ему тогда живымъ воплощеніемъ этой идеи:—красота ея была изъ тѣхъ, какую онъ могъ цѣликомъ воспроизвести въ искусствѣ¹. Она стала моделью для его статуи и любила его. Она-то способна была къ восхожденіямъ, могла понять его замыслы и раздѣлить его порывы. Когда онъ ее повелъ на высокую гору² и обѣщалъ ей показать всю славу міра, если... онъ не договорилъ, но она поняла; она исполнила его желаніе, преклонилась передъ нимъ и стала служить ему. Для нея это былъ чудеснѣйшій восходъ солнца,—жизнь озарилась новымъ блескомъ,—онъ сталъ ея господинъ и повелитель. Клятвенно поднявъ три пальца къ небу, она обѣщалась слѣдовать за нимъ до конца свѣта и служить до конца дней своихъ — его искусству. Она отдавала ему свою красоту въ полной ея, ничѣмъ

¹ Тамъ же. Стр. 39.

² Стр. 80.

неприкрытой наготѣ, отдавала для прославленія его имени, для прославленія того шедевра, въ которомъ его искусство и эта красота сливались воедино, создавая нѣчто цѣльное, живое,—ихъ общее дѣтище. И въ это служеніе его искусству,—не просто искусству, котораго она не любила, пока не узнала Рубека, а тому искусству, которое должно было прославить любимаго человѣка,—она вложила всю кипучую кровь своей молодости и всю свою юную душу. Что же именно воплотилъ этотъ обольститель въ формахъ полюбившей его женщины? Какая идея имѣла для него такое значеніе, что должна была дать содержаніе его шедеврѣ, дѣлу его жизни (Lebenswerk), и обезсмертить его имя? Идея та самая, которую и гр. Толстой, и Ибсенъ воспроизводятъ теперь въ романѣ и въ драмѣ,—идея воскресенія, т. е. идеаль жизни высшей, лучшей чѣмъ наша жизнь,—идеаль Царства Божія. Этотъ идеаль воплощается для Рубека въ лицѣ молодой женщины, пробуждающейся отъ сна — женщины самой благородной, самой чистой, самой идеальной; ¹ образъ такой женщины онъ нашелъ въ Иренѣ и не въ однѣхъ только формахъ ея внѣшней красоты, но несомнѣнно во всей личности ея. Она стала для него тою единственною моделью, въ которой, какъ потомъ оказалось, скрытъ былъ источникъ его вдохновенія: не только линіи и формы ея тѣла, но чувство ея къ нему, юное восторженное преклоненіе передъ художникомъ и

¹ Тамъ же. Стр. 39.

передъ его твореніемъ были незамѣнными участниками его творчества. И творчество это давало имъ обоимъ минуты высшей духовной радости; и ваятель и модель сосредоточивались для этой работы въ настроеніи, чисто молитвенномъ; ¹ онъ былъ всецѣло подъ обаяніемъ своей задачи и полонъ „ликующаго счастья“ Женщина, отдававшая ему свою красоту, была для него высокосвященнымъ предметомъ, котораго онъ касался только чистымъ помысломъ. Онъ былъ молодъ и вѣрилъ, что, если къ этимъ помысламъ примѣшается чувственное желаніе, то они теряютъ свой возвышенный характеръ и онъ не выполнитъ своего замысла ². Полная обнаженность ея красоты кружила ему голову, но, „благоговѣя богомольно передъ святыней красоты“, онъ умѣлъ бороться со страстью. И замыселъ его былъ выполненъ: чистая женщина выходила изъ его творческихъ рукъ такою, какою онъ воображалъ ее въ день возстанія изъ мертвыхъ: она не удивлялась на что-либо новое, или неизвѣстное, или непредчувствованное; но она была преисполнена священной радости оттого, что она, женщина земли, послѣ длиннаго, безъ видѣній, сна смерти, вновь обрѣтала себя не измѣненной, но вознесенною въ болѣе высокую, болѣе свободную, болѣе радостную сферу ³.

Такова была у Рубека идея воскресенія изъ мертвыхъ;—таковъ былъ первоначальный идеалъ жизни у религіозно настроеннаго художника. Этотъ

¹ Тамъ же. Стр. 68. ² Стр. 39. ³ Стр. 40.

идеаль была мечта свободы и красоты, удаленныхъ отъ дѣйствительности. Мечта эта не создавала чего либо новаго и небывалаго, но уносила ея творца въ сферу чувствъ, отрѣшенныхъ ото всего низменнаго, личнаго, чувственнаго. Ту полноту и гармонію душевныхъ силъ, которую у гр. Толстого испытываетъ Нехлюдовъ, отдаваясь своимъ юношескимъ порывамъ къ добру и къ правдѣ,—испытываетъ у Ибсена и Рубекъ, когда воплощаетъ въ искусствѣ свой порывъ къ свободѣ и красотѣ. И оба эту полноту жизни и счастье высшихъ радостей распространяютъ и на любящихъ ихъ женщинъ. Прелестный юноша, говоритъ гр. Толстой, любившій Катюшу и любимый ею, открылъ ей новый чудный міръ чувствъ и мыслей ¹ далъ ей волшебное счастье. Онъ какъ будто тоже ввелъ ее на высокую гору и открылъ ей „всю славу міра“. И для Ирены возшла новая заря жизни и ей открылся новый чудный міръ, когда Рубекъ раздѣлилъ съ нею благоговѣніе и восторги творчества. Это были „тѣ мгновенья чистой красоты“, когда оба въ себѣ чувствовали „и божество и вдохновенье“!

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 212.

II

С М Е Р Т Ъ.

За подъемомъ слѣдуетъ паденіе. Возвышенность и чистота помысловъ замѣнились знаніемъ и опытомъ жизни, какъ у юноши Нехлюдова, такъ и у молодого художника Рубека. Только у Нехлюдова этотъ опытъ, знакомство съ условностью и ложью, всецѣло въ изображеніи гр. Толстого господствующими въ обществѣ,—является главнымъ виновникомъ его преступленія. Жизненный опытъ нарушаетъ цѣльность нравственнаго сознанія и—Нехлюдовъ губить Катюшу. А у Рубека опытъ жизни производитъ только переломъ въ сферѣ мысли; но не онъ отдаляетъ отъ него и губить Ирену. Оба виноваты передъ любящими ихъ женщинами; но мотивы этой вины совершенно различны; и это чрезвычайно характерно для обоихъ авторовъ. У Нехлюдова ложью въ жизни всего общества усиливается власть звѣря въ человѣкѣ. Жизненнымъ опытомъ притупляется въ человѣкѣ совѣсть, подавляется въ душѣ то

свободное вѣчное начало истины и добра, которое Нехлюдовъ ощущалъ въ лучшія минуты жизни. Всѣмъ намъ памятна въ романѣ та страшная весенняя ночь съ ущербнымъ мѣсяцемъ и съ ломающимся на рѣкѣ льдомъ, когда Нехлюдовъ совершаетъ преступленіе. Памятно и то разграниченіе звѣря, властвовавшего въ немъ, и духовнаго существа, страдавшего отъ сознанія причиненнаго имъ дѣлушкѣ зла. Власть звѣря и была причиной гибели этой женской души. А вызвана и усилена эта власть чувственности и эгоизма всѣмъ строемъ нашего быта. Совѣсть Нехлюдова говорила ему, что въ этомъ быту хорошо и что дурно;—но онъ заглашалъ въ себѣ совѣсть и дѣлалъ все, какъ дѣлали другіе. Для того, чтобы дѣлать такъ, какъ говорила совѣсть, надо было бороться; это было трудно; потому Нехлюдовъ сдался, пересталъ вѣрить себѣ и повѣрилъ другимъ. „Вѣря себѣ,¹ всякій вопросъ надо было рѣшать всегда не въ пользу своего животнаго я, ищущаго легкихъ радостей, а почти всегда противъ него; вѣря же другимъ, рѣшать нечего было, все уже было рѣшено и рѣшено было всегда противъ духовнаго и въ пользу животнаго я“. — И Нехлюдовъ, переставъ вѣрить и бороться, чувствовалъ „восторгъ освобожденія ото всѣхъ нравственныхъ преградъ, которыя онъ ставилъ себѣ прежде, и, не переставая, находился въ хроническомъ состояніи сумасшествія эгоизма“² Въ такомъ состояніи загублена

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 72. ² Стр. 74.

имъ Катюша; и въ такомъ состояніи, подъ властью эгоизма и тщеславія, при сознаніи пустоты и безцѣльности жизни находимъ мы Нехлюдова въ началѣ романа:—вспомнимъ, что онъ думаетъ жениться на Мисси Корчагиной, чтобы семья, дѣти дали какой нибудь смыслъ его жизни.—Происходить встрѣча въ судѣ съ Масловой,—этой по его винѣ мертвою женщиною, и тутъ въ немъ совершается переломъ: въ душѣ его съ новою силою возрождаются стремленія къ правдѣ и добру; а затѣмъ, работая надъ воскрешеніемъ Катюши, онъ работаетъ въ то-же время и надъ собою. Только тогда и прекращается разладъ его поступковъ съ требованіями совѣсти, когда постепенно эгоизмъ и гордость замѣняются у него жалостью и любовью къ людямъ и когда, проводя эту любовь послѣдовательно въ жизнь, онъ находитъ въ ней, наконецъ, единственный смыслъ существованія.

И у героя Ибсеновской драмы, у Рубека, за подъемомъ силъ наступаетъ какъ бы упадокъ ихъ, пріостановка жизни. Статуя „Возстанія изъ мертвыхъ“ окончена. Мечта художника нашла свое воплощеніе; а женщина, красота которой служила этому воплощенію, женщина, восторженно отдавшая жизнь на обожаніе своего господина и повелителя,—уходитъ отъ него. Уходитъ озлобленная, до отчаянія ожесточенная его непониманіемъ и—эгоизмомъ. Она деморализована такъ же, какъ Катюша, и падаетъ такъ же низко, какъ та,—даже еще ниже, ибо падаетъ съ большей высоты духовнаго развитія. Это паденіе кончается для Ирены потерю раз-

судка; она только что подъ надзоромъ сестры милосердія выпущена изъ лѣчебницы, и только что оправляется отъ душевной болѣзни, когда встрѣчается съ Рубекомъ (1 дѣйствіе драмы). А Рубекъ находится въ такой же тоскѣ, какъ и Нехлюдовъ, отъ безцѣльности и пустоты жизни, отъ полной неудовлетворенности своего внутренняго я. Онъ совершилъ преступленіе надъ чувствами Ирены, но совѣмъ иное, чѣмъ Нехлюдовъ. Онъ тоже былъ подъ властью эгоизма, но эгоизма высшаго порядка, не—животнаго; онъ разбилъ сердце женщины, не сознавая того, не вѣдая, что творить. Даже встрѣтивши Ирену больною, полуживою, онъ не понималъ, почему она его винила въ своей нравственной смерти и почему она ушла отъ него. А ушла она оттого, что онъ не оцѣнилъ ея любви и не раздѣлилъ ее: вина его—причина ихъ разрыва и ея гибели—была самая натура художника.—Когда онъ кончилъ статую, онъ искренно благодарилъ модель свою Ирену. „Ты взяла меня за обѣ руки, напоминаетъ ему Ирена,¹ и горячо ихъ пожалъ. Я ждала затаивъ дыханіе. И ты сказалъ тогда: „ото всего сердца благодарю тебя Ирена. Это былъ для меня благодатный эпизодъ“.—Не того ждала Ирена, затаивъ дыханіе, не благодарности—за то невознаградимое, что она дала ему; не 3—4 года жизни, какъ думаетъ Рубекъ при встрѣчѣ съ нею, и не красоту, которую онъ созерцалъ и могъ прославить вмѣстѣ съ своимъ именемъ; — она

¹ Переводъ С. Полякова и Ю. Балтрушайтиса, стр. 76.

дала ему юную живую душу¹, которую онъ и вдохнулъ въ свое созданіе. Она удивлялась, какъ онъ могъ устоять противъ ея красоты; но одной чувственной только страсти не хотѣла Ирена; противъ этого оскорбительнаго для нея чувства она сумѣла бы защититься. Ея душѣ, внутреннему существу ея, былъ нанесенъ ударъ: Рубекъ не сумѣлъ отвѣтить на ея любовь; она отдавала ему всю жизнь, а онъ своей жизни не хотѣлъ раздѣлить съ нею. Для него эта любовь была эпизодомъ, какъ нѣчто временное, случайное, что не захватываетъ всей душевной жизни, а только тѣшитъ и радуетъ какъ игра. Она хотѣла служить ему и его дѣлу своею красотою, всею полнотою своей юной жизни, и увидала, что этого чувства не нужно ему, — что ему не нужна жизнь ея. И—она бросила его. Въ ненависти, въ озлобленіи на него, она думала, что безъ нея онъ ничего не создастъ крупнаго, живого; своимъ разрывомъ она хотѣла мстить ему за свою оскорбленную любовь. И не ошиблась: она глубоко проникла въ душу художника и постигла его натуру: „Я не лишила тебя жизни, говоритъ она,² потому что я видѣла, что ты—мертвый человѣкъ“.—Дѣйствительно Рубекъ никогда не жилъ настоящею жизнью, никогда не зналъ настоящей любви: въ глубокомъ, самоотверженномъ чувствѣ Ирены онъ видѣлъ одинъ эпизодъ; а въ любви Майи одну забаву для себя. Когда Ирена пыломъ сердца оживляла кра-

¹ Тамъ же. Стр. 45. ² Стр. 99.

соту модели и согрѣвала его творческій замыселъ, она пополняла этотъ замыселъ тою силою чувства, какой не было въ личной природѣ художника. Поэтому-то оба и могли сказать, что статуя была ихъ общимъ твореніемъ, „чадомъ ихъ въ духѣ и истинѣ“. А художникъ, ослѣпленный своей фантазіею не понималъ, что Ирена внесла *жизнь* въ его мечты. Онъ не видалъ того существеннаго, непреходящаго,— не эпизодическаго,— что составляло силу ея любви: онъ не воплотилъ бы и своей идеи, если бы Ирена не вложила въ нее сердца. Сердца-то именно и не доставало самому художнику; ему не доставало любви къ людямъ, потому онъ не понималъ Ирену и—погубилъ ее. Въ немъ властвуетъ не животное *я*, какъ въ Нехлюдовѣ, не чувственность заглушаетъ любовь сердца: и животное и сердечное чувство одинаково въ немъ заглушаются—фантазіею художника, влюбленнаго въ красоту и безучастнаго ко всему, что не касается непосредственно его творчества. На эту черствость художнической натуры, на отсутствіе у Рубека сердечной теплоты есть множество указаній въ діалогахъ Рубека и съ Майею, и съ Иреною. Для него въ центрѣ міра стоитъ только его *я*,—эгоизмъ гордости и тщеславія!—его высокомерное *я* съ его мечтами, успѣхами и славою. Все остальное—игра или забава. Участіе, любовь къ людямъ чужды этой природѣ. И Ирена поняла это; ¹ уже тогда, когда онъ въ юношеской восторженности былъ счастливъ своимъ

¹ Тамъ же. Стр. 99.

творчествомъ, она чутьемъ любящаго человѣка угадала, что онъ жилъ не чувствомъ, какъ живой человѣкъ, а игрою въ чувство; жилъ не съ живыми людьми, а съ своими мечтами; не въ дѣйствительной жизни, а въ мірѣ фантазіи.—Онъ былъ художникъ прежде всего и—только художникъ и за это-то она и возненавидѣла его. Бросая его, она произнесла его творчеству смертный приговоръ и Рубекъ дѣйствительно послѣ нея не находилъ уже прежней высоты вдохновенія. Старые источники его творчества изсякли, а новые не давали прежнихъ радостей и восторговъ: они не уносили его въ высшую сферу свободы и красоты, а наоборотъ держали его мысль около земли, вблизи животной жизни.—Въ этомъ и состоялъ тотъ переломъ мысли, который испыталъ молодой художникъ, когда послѣ ухода Ирены ближе узналъ жизнь и людей.

Вотъ какъ онъ самъ рассказываетъ про это. „Я былъ тогда еще молодъ и безо всякаго жизненнаго опыта. Воскресеніе, думалъ я, прекраснѣе и милѣе всего должно изображаться въ видѣ молодой, дѣвственной женщины, — незапятнанной еще никакимъ знаніемъ земныхъ волненій, — ничѣмъ нетронутой и незамазанной, — пробуждающейся для свѣта и величія“. „Я приобрѣлъ житейскій опытъ въ года, послѣдовавшіе затѣмъ“. „День воскресенія изъ мертвыхъ“ сталъ въ моемъ представленіи нѣчто болѣе широкое и болѣе сложное. Небольшой круглый пьедесталъ, на которомъ стояла стройная и одинокая статуя, не могъ вмѣстить всего того, что я хотѣлъ присоединить къ ней“. А присоединить къ

ней онъ хотѣлъ то, что видѣлъ въ жизни. „Оно должно было быть въ этомъ изображеніи. Я иначе не могъ. Я увеличилъ пьедесталь такъ, что онъ сталъ больше и просторнѣе. Я положилъ на него часть круглой треснувшей земной коры. Изъ всѣхъ ея трещинъ лѣзутъ, кишатъ люди съ лицами, въ которыхъ скрыты звѣринныя морды, такія, какихъ я зналъ въ жизни“. А статуя приходится не совсѣмъ въ серединѣ группы; она слишкомъ бы давила ее: онъ отодвинулъ ее назадъ. И свѣтъ радостнаго преображенія, хотя еще сіяетъ на ея лицѣ, но и его онъ затемнилъ сообразно съ своею новою идеею. Группа эта выражаетъ собою жизнь такъ, какъ онъ понимаетъ ее теперь ¹.

Ирена, которой Рубекъ это рассказываетъ, приходитъ въ ужасъ отъ того, что онъ сдѣлалъ съ ихъ дѣтищемъ: вѣдь вся ея душа, и она, и онъ самъ—вылились въ одинокой статуѣ. Ирена готова убить его. Но Рубекъ и безъ того чувствуетъ себя виноватымъ и наказаннымъ: перемѣна міровоззрѣнія не дала ему счастья. Въ группѣ „Воскресенія“ онъ изобразилъ и себя самого. Подавленный сознаниемъ своей вины, онъ сидитъ около ручья и не можетъ никакъ отдѣлится совсѣмъ отъ земной коры. Онъ называетъ это раскаяніемъ надъ погибшею жизнью. Онъ опускаетъ пальцы въ воду, чтобы омыть ихъ, и страдаетъ, корчится отъ мысли, что никогда это не удастся ему. Никогда вовѣкъ онъ не будетъ свободнымъ, живымъ, не воскреснетъ: вѣчно будетъ сидѣть въ аду своемъ.

¹ Тамъ же. Стр. 71—73.

Такъ затемнился тотъ первоначальный идеалъ жизни, который поднималъ художника на такую высоту, и давалъ и ему и его вдохновительницѣ такую полноту и радость жизни. Сообразно съ этимъ новымъ взглядомъ на жизнь измѣнилась и самая жизнь Рубека и его творчество. Когда группа „Воскресенія“ въ новомъ своемъ видѣ была окончена, она создала ему славу: онъ сталъ и знаменитъ и богатъ. Но внѣшніе успѣхи дали ему свободу и независимость, а истиннаго внутренняго довольства не могутъ дать. Самъ онъ своимъ произведеніемъ не доволенъ¹; хотя и старается себя увѣрить, что „День Воскресенія“ дѣйствительно шедевръ², или что онъ былъ имъ первоначально, или что онъ долженъ, долженъ имъ быть! Да и публика этого произведенія не понимаетъ: „Весь свѣтъ“ кричитъ о немъ, но видитъ въ немъ то, чего вовсе нѣтъ, о чемъ художникъ никогда и не думалъ³. Для этой публики, для толпы, работать не стоитъ! Отъ ея похвалъ и лести онъ радъ бы убѣжать, скрыться; такъ ему противно человѣчество! Онъ находитъ теперь удовлетвореніе только въ глубоко-презрительномъ отношеніи къ людямъ, и это презрѣніе не явное, а замаскированное; его художникъ вкладываетъ въ тѣ скульптурные портреты, которые теперь онъ только и работаетъ. Въ этихъ бюстахъ люди не видятъ ихъ тайнаго смысла. Они видятъ только внѣшнее „поразительное сходство“, какъ говорится, и рты развѣваютъ отъ восторга. Но это въ сущности

¹ Тамъ же. Стр. 57. ² Стр. 12. ³ Стр. 15.

Воскресеніе.

вѣдь не лица: „это — честныя почтенныя лошадинныя морды, упрямые ослы; вислоухіе низколобые псы; упитанныя свиньи; тупые, грубые быки“. Рубекъ, узнавъ жизненнымъ опытомъ, власть земли и ея животной жизни, власть звѣря въ человѣкѣ, эту-то власть и увѣковѣчиваетъ въ своемъ искусствѣ. Люди не понимаютъ оскорбительнаго для нихъ значенія своихъ бюстовъ: они эти двусмысленныя шедевры покупаютъ чуть не на вѣсъ золота! А на самаго художника эта насмѣшка надъ человѣчествомъ, какъ выраженіе его злого высокомернаго взгляда на жизнь, дѣйствуетъ крайне угнетающе. Онъ тоскуетъ отъ одиночества; а по натурѣ онъ мало общителенъ; онъ идетъ въ жизни своею особою дорогою и имѣетъ одинъ только интересъ—искусство ¹. Но теперь это искусство, самое призваніе его, представляется ему пустымъ, ничтожнымъ, безсодержательнымъ ². Онъ скучаетъ, нигдѣ не находитъ себѣ покоя; да и настоящаго оживленія нигдѣ не видитъ; все существованіе представляется ему безцѣльнымъ и ненужнымъ, особенно на родинѣ:—въ ея скучной тишинѣ, во всей жизни, онъ видитъ соблюденіе какихъ-то формъ, лишенныхъ смысла и содержанія. Это напоминаетъ ему поѣздъ, который ночью зачѣмъ-то останавливается на станціи, когда оно совсѣмъ не нужно и никто не входитъ и не выходитъ изъ вагоновъ... Такое тоскливое настроеніе показываетъ, что Рубекъ, дѣйствительно не живетъ, не знаетъ полноты жизни. Ни

¹ Тамъ же. Стр. 54. ² Стр. 58.

внѣшнее благополучіе, ни работа не даютъ ему бодрости, внутренней свободы; они удовлетворяютъ гордость, эгоизмъ его, но радости и счастья не даютъ. Въ творествѣ онъ не находитъ прежняго высокаго подъема духа, прежней полноты жизни. А онъ хочетъ жить, радоваться, наслаждаться красотою и солнцемъ. Онъ женится. Молодую жизнерадостную дѣвушку, влюбленную въ него, онъ поднимаетъ на высокую ступень общественной жизни и дѣлитъ съ нею всѣ внѣшнія преимущества своего положенія. Но на умственную свою высоту онъ Майю поднять не можетъ: оттого у нихъ не семья, не очагъ, а сожительство, домъ, въ которомъ оба тоскуютъ. Къ тому же, испробовавъ наслажденій, онъ понялъ, что не рожденъ для праздности, что долженъ постоянно, непрерывно работать, творить; а интересъ къ работѣ, радость творчества исчезла: онъ чувствуетъ себя безсильнымъ одинокимъ¹; ему нужно чтобы кто-нибудь былъ близокъ его внутреннему міру, имѣлъ бы ключъ къ тѣмъ творческимъ замысламъ, которые глубоко заложены и какъ-бы заперты въ немъ.

Особенно сильно ощущаетъ онъ эту тоску одиночества и безсиліе творчества,—всю мертвенность своего существованія,—когда вновь, послѣ долгой разлуки, встрѣчается съ Иреною; эта встрѣча будитъ въ немъ и прежнія чувства къ ней и память о прежнемъ идеалѣ жизни. Какъ Нехлюдовъ послѣ встрѣчи въ Судѣ съ Масловой особенно сильно по-

¹ Тамъ же. Стр. 56.

чувствовалъ, что „все гадко и стыдно“, — какъ онъ отвернулся отъ настоящей дѣйствительности и возвратился къ своему юношескому идеалу, такъ точно и Рубекъ. Увидавъ воскресающую къ жизни Ирену, онъ удивляется какъ могъ онъ измѣнить первоначальный свой замыселъ „Воскресенія изъ мертвыхъ“ какъ могъ онъ статую, сдѣланную съ Ирены, поставить на задній планъ! ¹. Та смѣна идеаловъ, которую онъ пережилъ послѣ Ирены подѣвліемъ житейскаго опыта, очень близка въ сущности къ перевороту въ жизни и мысли Нехлюдова. Оба почувствовали и признали силу животнаго я, власть звѣря въ душѣ человѣческой; оба освободились отъ нравственныхъ преградъ, жили эгоизмомъ и были несчастны, — несмотря на все внѣшнее благополучіе. Только у Нехлюдова власть эгоизма — временная. Юношескій идеалъ, хотя и заглушается окружающею дѣйствительностью, но живетъ постоянно у него въ душѣ. Даже когда онъ перестаетъ вѣрить себѣ, своей совѣсти, и поступаетъ какъ всѣ, онъ все-таки не перестаетъ ощущать разладъ совѣсти и поступковъ. И этотъ разладъ подавляетъ его, не даетъ его жизни ни смысла, ни настоящей радости. Вотъ почему, стоило его совѣсти вновь заговорить, стоило неожиданному совпадению, встрѣчѣ въ Судѣ, поставить его лицомъ къ лицу съ юношескими чувствами, какъ ожилъ прежній идеалъ; и разладъ совѣсти и поступковъ, идеала и жизни, кончается торжествомъ идеала.

¹ Тамъ же. Стр. 63.

Опять какъ въ юности восторгъ, полнота и радость жизни охватили душу и подчинили себѣ всю его жизнедѣятельность. Все дѣйствіе романа и заключается въ томъ, что высокій идеаль нравственности, выросшій изъ непосредственности молодого чувства, вновь постепенно покоряетъ самого Нехлюдова, вызывая его на борьбу со зломъ и страданіемъ, покоряетъ и загубленную имъ женщину. Воскрешая Катюшу, Нехлюдовъ и самъ воскресаетъ къ новой жизни.

Иначе происходитъ Воскресеніе у Ибсена; — иначе возрождается у Рубека тотъ идеаль жизни, которымъ онъ жилъ во дни своего увлеченія Иреною. У него былъ идеаль не сердца, — не совѣсти, какъ у Нехлюдова; а мечта, плодъ фантазіи художника. И эта мечта при столкновеніи съ дѣйствительностью осуждена погибнуть безвозвратно. Она не можетъ выдержать жизненнаго опыта; потому художникъ и изображаетъ себя малодушно кающимся, страдающимъ объ утраченной мечтѣ—идеаль жизни; онъ уже не можетъ подняться, какъ Нехлюдовъ; онъ не можетъ отдѣлиться отъ земли и очистить свою душу отъ звѣря. „Ты поэтъ, говоритъ на это Ирена, и въ этомъ оправданіе твоей слабости!“¹ Слабость происходитъ оттого, что фантазія этого поэта не согрѣта чувствомъ, что мечты его не вытекаютъ изъ сердца, не исходятъ изъ непосредственной силы добра и любви. И художникъ — поэтъ не можетъ не изображать того,

¹ Тамъ же. Стр. 75.

что онъ видитъ и какъ онъ это видитъ теперь, когда утрачена юношеская мечта. А видитъ онъ въ людяхъ не то стремленіе въ высшую, болѣе радостную, болѣе свободную сферу, которымъ онъ жилъ раньше самъ въ своей юной восторженности; онъ видитъ преобладаніе не духовныхъ интересовъ, а низменныхъ инстинктовъ, плотскихъ, животныхъ страстей; онъ видитъ теперь, какъ и Нехлюдовъ, только „звѣря“, отъ котораго не можетъ освободить и свою личность; онъ малодушно мучится этимъ сознаніемъ, а Бога живого въ себѣ, той непосредственной близости къ источнику добра и жизни, которую чувствуетъ Нехлюдовъ въ голосъ своей совѣсти, онъ не умѣетъ чувствовать. Оттого-то его юношескій идеалъ будущаго, чистая благородная мечта, сталъ теперь неосуществимъ, какъ мечта, порожденная фантазією и незнаніемъ дѣйствительности, а не дѣятельностью сердца и сердечныхъ желаній. Оттого и первоначальная идея „Воскресенія изъ Мертвыхъ“ не мирится съ жизненнымъ опытомъ, кажется Рубеку узкою и одностороннею. Погибли идеальныя мечты молодости; изсякъ съ ними вмѣстѣ и источникъ вдохновенія. Новое пониманіе жизни не можетъ поднять мысль на прежнюю высоту и дать фантазіи ту цѣльность взгляда, полноту и радость творчества, безъ которыхъ не можетъ жить художникъ. Оттого-то онъ теперь живетъ и работаетъ, но тяготится и жизнью, и искусствомъ, и ни въ чемъ не находитъ нравственнаго удовлетворенія. — Встрѣча съ Иреною воскрешаетъ въ немъ прежнія мечты... Но тутъ въ этомъ процессѣ обнов-

ленія жизни, въ воскрешеніи такихъ мертвыхъ людей, какъ Нехлюдовъ, Рубекъ и загубленные ими женщины,—сказалась у Ибсена и у гр. Толстого коренная разница ихъ взглядовъ, полный контрастъ ихъ идеаловъ, ихъ пониманія жизни, смерти и воскрешенія.

Прежде чѣмъ разбирать какъ эти процессы воскрешенія обрисованы у обоихъ писателей, остановимся нѣсколько на тѣхъ идеалахъ жизни, какіе они вложили въ своихъ героевъ. О томъ идеалѣ жизни, который одушевляетъ Нехлюдова и который въ заключеніе даетъ полное и будто бы прочное удовлетвореніе его мысли и чувству,—говорить нѣтъ надобности. Идеаль жизни гр. Толстого т. е. его пониманіе Царства Божія на землѣ, достаточно извѣстно. Оно не только очень подробно и отчетливо излагалось въ другихъ произведеніяхъ нашего писателя, но и въ самомъ этомъ романѣ, обличительная цѣль автора такъ ясна; ложь и зло жизни рисуются такъ выпукло и наглядно, (въ ущербъ иногда правдивости), что нѣтъ возможности сомнѣваться въ чемъ именно, гдѣ видитъ Толстой добро и правду. Это произведеніе къ его прежнимъ взглядамъ не прибавляетъ ничего новаго. Что же касается до Ибсена, до его пониманія смысла жизни и идеала будущаго, то намъ слѣдуетъ остановиться на характерномъ типѣ художника Рубека и на его переломѣ мысли. А герой этотъ и переживаемая имъ смѣна идеаловъ могутъ быть понятны только въ связи съ предыдущею дѣятельностью Ибсена: поэтъ потому и называетъ эту пьесу драматическимъ эпи-

логомъ, что прототипъ и самого ваятеля и его душевной драмы давно уже волнуетъ какъ отвлеченную его мысль, такъ и творческую фантазію.

III

ЭВОЛЮЦІЯ ИБСЕНА.

Не будемъ углубляться въ ту первоначальную дѣятельность Ибсена (50-хъ и начала 60-хъ годовъ), которая вполне проникнута мало иностранцамъ доступными скандинавскими вліяніями. Это періодъ историческихъ драмъ изъ Норвежскаго средневѣковья, которыя наврядъ ли бы переведены были на европейскіе языки, если бы Ибсенъ не сталъ потомъ авторомъ Норы, Привидѣній или Эдды Габлеръ, Сольнеса и др. А между тѣмъ въ нихъ много не только своеобразной красоты, но и тѣхъ мыслей и чувствъ, которыя не разъ обрабатывались Ибсеномъ въ позднѣйшіе годы его дѣятельности. Такъ напр., то высокое уваженіе къ женщинѣ и къ любви внушаемой и испытываемой ею, которымъ проникнуты обѣ послѣднія его драмы: „Іонъ-Габріель Боркманъ“ и „Когда мы мертвые проснемся“, опредѣляетъ собою и нравственную идею, положенную въ основаніе одной изъ первыхъ

его драмъ: *Naegmaendene paa Helgeland*, „Воители на Гельгеландъ“; (она у насъ переведена также подъ заглавіемъ: „Сѣверные Богатыри“). Драма эта вышла въ 1858 г., написана по древнимъ сагамъ и имѣетъ героями лицъ наполовину мифическихъ. Трагическая вина героя, приводящая заключительную катастрофу, состоитъ въ томъ, что герой во имя дружбы къ собрату-воину пренебрегъ и своею любовью къ женщинѣ, равной ему по героическимъ свойствамъ характера, и ея любовью; а тѣмъ онъ загубилъ и ея, и свою жизнь. Сопоставленіе этой драмы съ драмою: „Когда мы мертвые проснемся“—ихъ отдѣляетъ промежутокъ болѣе 40 л.,—было бы очень интересно, но завело бы насъ слишкомъ далеко. Мы остановимся на болѣе значительныхъ произведеніяхъ, на двухъ драматическихъ поэмахъ, „Брандъ“ и „Пееръ Гинтъ“ (1866—1868 гг.); въ нихъ Ибсенъ далъ два типа характерныхъ для норвежской національности, чѣмъ и заслужилъ славу національнаго поэта; а кромѣ того онъ выразилъ въ нихъ и свое идеалистическое міропониманіе.

Ибсена уже въ раннихъ его историческихъ драмахъ глубоко интересуется идея „призванія“, т. е. идея личности, избранной, предопредѣленной отъ рожденія къ выполненію или подвига, или выдающейся исторической роли; идея эта—романтическая и нѣсколько окрашена мистицизмомъ. Въ поэмахъ „Брандъ“ и „Пееръ Гинтъ“ мистики остается немного и то только во внѣшнихъ приемахъ автора. Въ обѣихъ поэмахъ передъ нами выводится человѣкъ,

надѣленный высшими духовными силами; онъ неудовлетворенъ окружающею его жизнью и вступаетъ съ нею въ борьбу во имя той идеи, которую онъ составилъ о своемъ назначеніи; но идея эта обманываетъ его: назначеніе было имъ невѣрно понято; оно направило его жизнь по ложному пути, и онъ только передъ смертью сознаетъ свое заблужденіе. Такимъ образомъ въ основѣ этихъ поэмъ лежитъ вопросъ о смыслѣ жизни, о назначеніи человѣка, и ставится этотъ вопросъ такъ: если природа надѣлила человѣка силою, то какая цѣль осмыслить всѣ проявленія этой силы? Что даетъ полное и всестороннее удовлетвореніе душѣ человѣка? Въ чемъ ея истинное назначеніе, ея спасеніе? Въ первой поэмѣ „Брандъ“ въ лицѣ ея героя, пастора изъ крестьянъ, Бранда, Ибсенъ воплощаетъ одну сторону норвежскаго характера: стойкость и суровость воли, ея напряженность и неуклонность въ достиженіи цѣли. Брандъ необычайно цѣлентъ; онъ проповѣдуетъ новаго бога, новый идеалъ жизни: это не догматъ какой-нибудь секты; Брандъ только требуетъ отъ людей цѣльности. Свою паству онъ учитъ не отдѣлять религіи отъ жизни, убѣжденій отъ дѣла; для него необходимо, чтобы все въ жизни направлено было къ одной цѣли—идеальной и отрѣшено ради нея ото всего низменнаго, эгоистичнаго, корыстнаго. Его девизъ: „все или ничего“. Для него крѣпкая воля, умѣнье итти до конца, бороться со всякими препятствіями—это первое условіе спасенія. Личная его жизнь и его характеръ согласуются съ этимъ ученіемъ: онъ жертвуетъ са-

мыми дорогими своими привязанностями, чтобы провести свое учение въ жизнь и остаться себѣ вѣрнымъ. Спасеніе матери: — онъ за ея любостязаніе отказываетъ ей передъ смертью въ пасторскомъ благословеніи; — жизнь ребенка: сынъ его умираетъ отъ суроваго климата въ томъ приходѣ, гдѣ Брандъ нашелъ свое призваніе; — жизнь жены преданной, любящей: она умираетъ, не переноситъ потери сына и строгости новаго идеала жизни; — наконецъ свою собственную жизнь: Брандъ все, рѣшительно все приноситъ въ жертву своему пониманію божества... Умираетъ онъ не понятый прихожанами: они побили его камнями за то, что онъ обманулъ ихъ религіозное возбужденіе. Въ предсмертную минуту онъ сомнѣвается вѣрно ли имъ понято его назначеніе: „Скажи мнѣ Боже, достаточно-ли силы воли для спасенія“? — „Богъ есть милосердіе“, (Deus Caritatis) отвѣчаетъ голосъ. Лавина обрушивается и погребаетъ подъ собою идеалиста, въ сердцѣ котораго не доставало милосердія и снисхожденія къ слабости человѣческой. Въ героѣ поэмы „Пееръ Гинтъ“, воплощается другая крайность національнаго характера: избытокъ фантазіи. Молодой крестьянинъ не надѣленъ тою силою воли, которая необходима для борьбы съ жизнью; онъ уходитъ отъ дѣйствительности въ міръ вымысловъ и отдается въ жизни игрѣ случайностей. Онъ тоже ищетъ отвѣта на вопросъ о смыслѣ жизни; но жизненное правило „будь самимъ собою“ онъ понимаетъ невѣрно. Въмѣсто того, чтобы, какъ Брандъ, всѣ силы своей личности подчинить одной

вышей цѣли и быть всегда вѣрнымъ этой цѣли, онъ понимаетъ это правило въ узко-эгоистическомъ смыслѣ и живетъ произволомъ личныхъ чувствъ и вожделѣній; сперва онъ отдается страсти къ наслажденіямъ, затѣмъ страсти къ наживѣ. Жизнь его полна приключеній, но онъ никогда и нигдѣ не былъ самимъ собою. Когда онъ чувствуетъ приближеніе смерти и суда надъ собою, онъ видитъ, что не нашелъ своего настоящаго призванія, правильнаго примѣненія своихъ силъ: стремясь проявить свою личность, быть самимъ собою, онъ жилъ только эгоизмомъ и игрою фантазіи. Онъ погибаетъ и если, что можетъ спасти его, то сила женской любви, т. е. сила добра, вложенная въ его душу и вновь пробужденная вѣрностью и постоянствомъ его жены.

По смыслу обѣихъ поэмъ назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы очистить и проявить въ жизни то высшее духовное начало, которое заложено въ его душѣ. Цѣль жизни — борьба за это начало и съ своими собственными, низменными инстинктами, и со всѣмъ тѣмъ зломъ жизни, которое соотвѣтствуетъ этимъ инстинктамъ. За такое назначеніе человѣка борется Брандъ; отъ непониманія такого назначенія гибнетъ Пееръ Гинтъ. Брандъ борется и съ собою, и со всѣмъ зломъ жизни; но какъ ведется имъ борьба съ жизнью, въ чемъ конкретномъ, реальномъ состоитъ это зло,—мы не видимъ. Онъ проповѣдуетъ Царство Божіе свободно—прекрасное; онъ требуетъ отъ людей самоотверженности и презрѣнія къ матеріальнымъ благамъ изъ-за высшихъ цѣлей спасенія. Но эти цѣли такъ отда-

ленны и такъ туманны, что намъ вполне понятно разочарованіе той толпы, которую Брандъ могъ возвышенно настроить своимъ вдохновеннымъ словомъ, но не могъ удержать,—когда всѣ проголодались и устали,—на той же высотѣ настроенія. Брандъ проповѣдуетъ не положительную доктрину, а нѣчто общее, отвлеченное; ту цѣльность идеальнаго порыва, подъ которую можно подвести всякую доктрину. И самъ Ибсенъ говорилъ, что въ Брандѣ ему важна не доктрина: Брандъ могъ бы быть не пасторомъ, а политическимъ дѣятелемъ или художникомъ; важна отвлеченная цѣль и послѣдовательность, стойкость стремленія къ ней; важно прежде всего для человѣка умѣть подчинить всю жизнь отвлеченному духовному началу. Такъ подчиняетъ себя Брандъ своему идеалу, насилуя для этого свою собственную природу: онъ, при всей своей строгости и прямолинейности, не изувѣръ, не эгоистъ; если въ свое ученіе онъ и не вноситъ милосердія, снисхожденія къ слабости, то самъ онъ способенъ къ самымъ горячимъ, нѣжнымъ привязанностямъ и къ самымъ глубокимъ страданіямъ сердца. Онъ не черствый человѣкъ: онъ только горячо убѣжденный идеалистъ, готовый во имя своего идеала на всякія жертвы. А идеаль этотъ созданъ высокимъ порывомъ его духа и негодованіемъ сердца. Онъ возникъ у одинокаго мечтателя, возмущеннаго несоотвѣтствіемъ между тѣми стремленіями къ истинѣ, къ свободѣ и къ красотѣ, проявленія которыхъ онъ считаетъ назначеніемъ человѣка на землѣ, и тѣмъ безуміемъ косности, эгоизма и лжи, кото-

рое онъ видитъ въ окружающей жизни. Его идеаль—мечта возвышенная, безпочвенная, безпредѣльная. Но она—плодъ не одной только фантазіи поэта; въ ней сказалась и ожесточенная страстная любовь къ человѣчеству, и вѣра въ его высокое назначеніе. Въ идеализмъ Бранда Ибсенъ вложилъ много субъективнаго—(онъ признавался въ этомъ въ извѣстной своей рѣчи къ студентамъ въ Христіаніи, чествовавшимъ его въ 1874 г.); а его идеализмъ этой поры, какъ порывъ мысли въ область сверхчувственного, отрѣшеннаго отъ дѣйствительности, страдаетъ крайнею отвлеченностью.

Въ слѣдующей драмѣ, двойной драмѣ, „Императоръ и Галилеянинъ“ Ибсенъ опять изображаетъ одинокаго идеалиста, — Юліана Отступника, — въ борьбѣ съ жизнью. Тутъ авторъ, по собственному признанію, отрѣшился уже отъ узости національно-скандинавскаго міровоззрѣнія. Постоянная жизнь его за границую во время европейской войны 1870 г. и послѣдовавшихъ за нею событій, — расширила умственный кругозоръ поэта и открыла ему новыя точки зрѣнія. Вслѣдствіе этого „Императоръ и Галилеянинъ“, по глубинѣ замысла и по широтѣ идейнаго объема, является самою значительною изъ всѣхъ драмъ Ибсена—и историческихъ и философскихъ и бытовыхъ; въ ней можно найти всѣ тѣ элементы мысли, которые поэтъ раньше вкладывалъ въ свое творчество, которые и позже онъ вносилъ въ свое наблюденіе и изученіе жизни. Идеализмъ его принимаетъ здѣсь новыя формы. Въ характерѣ Юліана нѣтъ цѣльности Бранда, но и въ

идеалахъ его нѣтъ схематичности, расплывчивости норвежскаго пастора. Юліанъ также борется со зломъ окружающей его жизни, съ развращенностью византійскаго двора. Но во имя чего онъ борется? Онъ долго не находитъ, — хотя страстно ищетъ, — того цѣльнаго единого начала, которое примирило бы всѣ противорѣчія его души. Онъ долго колеблется, переходя отъ одного идеала жизни къ другому; наконецъ онъ прельщается красотой античной жизни: онъ хочетъ воскресить язычество и для того возводитъ гоненіе на христіанъ. Умираетъ онъ съ сознаніемъ, что мечта обманула его, что красота земной жизни побѣждена евангельскимъ ученіемъ. Борьба его съ заблужденіемъ составляетъ интересъ драмы; но борьба эта теряетъ постепенно свой идеальный характеръ: сначала Юліанъ — восторженный юноша, жаждущій истины; онъ — блестящій, даровитый ученикъ языческихъ философовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденный другъ христіанъ — отцовъ церкви Василія Великаго и Григорія Назіанзина; — а затѣмъ, на тронѣ Цезарей, Юліанъ не сохраняетъ уже высшихъ стремленій духа; онъ не можетъ стать выше своихъ личныхъ, эгоистическихъ вожделѣній; порочныя страсти византійца, испорченнаго придворной средою, заглушаютъ тѣ идеалы Красоты и Истины, которые онъ стремился провести въ жизнь; и онъ, обманувши всѣ ожиданія, которыя на него возлагались, погибаетъ жертвою своего высокомерія и деспотизма. Въ своемъ исканіи идеала онъ жаждетъ прежде всего цѣльности. Онъ не можетъ наприм. примириться съ раздѣленіемъ жизни на

матеріальную и идеальную, на земную и небесную; на Божіе и Кесарево. Онъ не можетъ подчинить Кесаря Богу; не можетъ, какъ Брандъ, всю жизнь матеріальную принести въ жертву своему идеалу,— и отказаться отъ земныхъ благъ ради небесныхъ. Онъ пытается создать свою философію, а завершаетъ эти попытки тѣмъ, что велитъ поклоняться себѣ, какъ Богу: онъ мечтаетъ, въ своемъ самообольщеніи, соединить въ своемъ лицѣ власть духовную, божественную со властью внѣшней, политической. Попытки эти свидѣлствуютъ о глубинѣ его нравственнаго паденія и приводятъ его почти къ потерѣ разсудка.

Характеръ Юліана очень детально и всесторонне разработанъ у Ибсена. Въ немъ поражаетъ прежде всего глубокое противорѣчіе натуры; это—та двойственность, которую Ибсенъ изображалъ впослѣдствіи и въ характерахъ изъ современной дѣйствительности. Съ одной стороны, Юліанъ необыкновенно симпатиченъ высокими запросами своей души, порывами къ знанію, преклоненіемъ передъ красотой и тѣмъ подъемомъ духа, который сказывается у него въ вопросахъ вѣры, въ поискахъ единого спасительнаго начала жизни. Но съ другой стороны, ему присущи тѣ низменные себялюбивые инстинкты, которые заглушаютъ постепенно высшія проявленія духа. Онъ жаждетъ вѣры, жаждетъ познанія и близости божества; но Христа въ душѣ своей, въ совѣсти, какъ истинные хрістіане той поры,—онъ не чувствуетъ. Эгоизмъ, низость, трусость развратнаго царедворца уживаются въ немъ

не только съ талантами и доблестями полководца, но и съ исканіемъ цѣльности жизни, съ мечтою о свободѣ и красотѣ и, наконецъ,—съ жаждою спасенія, съ стремленіями къ нравственному совершенствованію. Такую же двойственность, высоту замысловъ и низость души, противорѣчіе между идеаломъ нравственнымъ и эстетическимъ, Ибсенъ изобразилъ въ женскомъ типѣ Эдды Габлеръ, а затѣмъ и въ Сольнесѣ и въ Рубекѣ. У нихъ нравственная ихъ природа, непосредственное ихъ чувство добра и любви къ человѣку, не находится на высотѣ ихъ идеальныхъ порывовъ, ихъ фантастической мечты. Но это раздвоеніе идеализма въ герояхъ Ибсена сказалось въ его позднѣйшихъ драмахъ. А раньше того, тотчасъ послѣ Императора и Галилеянина, идеализмъ самого поэта съ его отрѣшенностью отъ современной дѣйствительности, уступилъ мѣсто проявленію его жанроваго бытописательнаго таланта. На его творчествѣ отразилась теперь та бурная эпоха реформъ, которая переживалась на Скандинавскомъ полуостровѣ: молодя поколѣнія подняли въ 70-хъ годахъ усиленную ломку всего традиціонно - бюрократическаго строя жизни, освященнаго лютеранскимъ или сектантскимъ міровоззрѣніемъ; вызвали сильное движеніе во имя умственной и политической свободы... Ибсенъ работалъ надъ бытовыми драмами „Союзъ Молодежи“, „Столпы Общества“ и внимательно присматривался къ борьбѣ партій, но не становился на сторону ни одной изъ нихъ. Онъ всегда смотрѣлъ на жизнь съ большой высоты; потому и

теперь, когда онъ въ „Норѣ“ коснулся вопроса женской свободы и независимости, онъ вложилъ въ жанровую фигуру жены—куколки, такую силу идеального порыва и такой рѣшительный протестъ противъ существующаго строя жизни, что куколка переродилась и оказалась сродни его ригористу Бранду, проповѣднику новаго божества, новыхъ началъ жизни. А затѣмъ въ „Привидѣніяхъ“, усиливая этотъ протестъ противъ несправедливости и лицемерія, онъ изобразилъ въ душевной драмѣ г-жи Альвингъ одинъ изъ самыхъ глубокихъ вопросовъ нашего вѣка. Г-жа Альвингъ доходитъ до отрицанія всѣхъ основъ нравственности и ищетъ новыхъ устоевъ общественной и семейной морали; въ смѣнѣ ея идеаловъ религіозныя основы уступаютъ мѣсто новымъ научнымъ теоріямъ: Лютеръ замѣняется Дарвиномъ. Такимъ образомъ, у Ибсена работа о нравственномъ идеалѣ и вѣчный вопросъ смысла и назначенія жизни, лежатъ въ основѣ даже бытовыхъ его драмъ, въ обличеніи направленномъ противъ буржуазной среды. И эти идеалистическіе порывы приходятъ у него въ столкновеніе съ жанровымъ бытописательнымъ талантомъ; потому что знаніе и изученіе жизни дѣйствительной приводитъ его къ нѣкоторому разочарованію въ прежнихъ идеалахъ. Переломъ этотъ обозначается уже въ „Врагѣ Народа“. Изобличая тутъ косность и ложь въ формахъ внѣшней свободы, онъ рисуетъ типъ идеалиста,—опять одинокаго мечтателя,—борца за отвлеченную истину. Эта истина оказывается непригодной въ обществѣ, и идеалистъ побѣжденъ жизнью. Сток-

манъ, какъ носитель Ибсеновскаго идеала, — личность героическая; но какъ типъ бытовой, нарисованный знатокомъ жизни, онъ развѣнчиваетъ собою героя-идеалиста. Это развѣнчиваніе идетъ дальше въ слѣдующей драмѣ „Дикой Уткѣ“. Тутъ во взглядахъ Ибсена очевиденъ уже такой рѣшительный поворотъ, какъ будто поэтъ раскаивается въ своемъ отвлеченномъ идеалѣ; какъ будто жизненный опытъ показалъ ему „звѣря“ въ человѣкѣ и убѣдилъ его, что проповѣдь высшихъ цѣлей жизни не можетъ поднять приниженное, слабое, жалкое человѣчество. Людямъ не нужна ни истина, ни справедливость; имъ полезнѣе ложь, жизненные иллюзіи; большинство не понимаетъ цѣльности нравственныхъ требованій, оно довольствуется словами, фразами, а на дѣлѣ не тяготится никакою грязью житейскихъ отношеній. Идеалистъ, который является въ Дикой Уткѣ съ проповѣдью нравственныхъ требованій, ничего кромѣ зла не причиняетъ, потому что онъ неумный, недалководный человѣкъ и не понимаетъ дѣйствительной жизни, не знаетъ людскихъ характеровъ.

Тою же горечью пессимизма, ощущеніемъ ничтожества человѣка и сознаніемъ непригодности его идеальныхъ порывовъ проникнуты и слѣдующія драмы. Въ „Женщинѣ съ Моря“ развѣнчивается порывъ къ женской независимости. Авторъ надѣляетъ этимъ порывомъ истеричку, прекрасную, но слабую духомъ женщину, которая не умѣетъ отличить своихъ болѣзненныхъ фантазій отъ дѣйствительности и въ поискахъ мнимой свободы

стала бы жертвою преступника, искателя приключеній, если бы не спасла ее разумная заботливость мужа. Герои идеалисты оказываются теперь у Ибсена не жизнеспособны. Если они цѣльны, т. е. не страдают внутреннею раздвоенностью Юліана, то они не видятъ дѣйствительности въ настоящемъ свѣтѣ; живя въ сферѣ отвлеченности, они не знаютъ, не понимаютъ живыхъ страстей и сами падаютъ жертвой этого непониманія. Таковъ Росмеръ въ драмѣ „Росмерсгольмъ“, таковъ отчасти Альмеръ въ драмѣ „Маленькій Эйольфъ“. Другіе идеалисты, хотя и преуспѣваютъ сначала въ жизни, но они носятъ въ себѣ раздвоенность; и она-то не даетъ имъ испытать полного внутренняго удовлетворенія. Таковъ Сольнесъ въ драмѣ того же имени. Онъ испытываетъ переломъ мысли; онъ мѣняетъ старыя вѣрованія на новыя свободныя убѣжденія, замѣняетъ служеніе Богу—служеніемъ человѣчеству. Но онъ служить вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ и Юліанъ, темной силѣ собственнаго эгоизма. И онъ сознаетъ это; онъ мучится совѣстью, страдаетъ уныніемъ, трусостью и не можетъ подняться на прежнюю высоту творчества. За попытку такого подъема онъ расплачивается жизнью. Жизнью платится и Эдда Габлеръ за свою мечту о красотѣ и свободѣ жизни,—мечту совершенно непримѣнимую къ той прозѣ существованія, которая ее окружаетъ. Въ ней, какъ въ Юліанѣ Отступникѣ, отсутствуетъ сила непосредственнаго добра и любви; оттого всѣ порывы ея бесплодны и мечты ея обманываютъ ее. Боркманъ—тоже идеалистъ; но его идеаль—не творче-

ство художника, не мечта красоты: онъ ищетъ силы и власти, которыя даются деньгами; силою таланта и воли онъ хочетъ освободить тѣ богатства, которыя скрыты въ нѣдрахъ земли, поработить ихъ себѣ, и въ стремленіи къ этой цѣли онъ не знаетъ никакихъ препятствій. Своему эгоизму онъ приноситъ въ жертву двухъ любящихъ его женщинъ, совершенно такъ же, какъ Рубекъ жертвуетъ Иреною и Майею высококомѣрію своей художнической натуры.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ эволюція идеализма у Ибсена. Уже по этому бѣглому наброску можно видѣть, что въ Рубекѣ мы имѣемъ одного изъ тѣхъ идеалистовъ, которые переживаютъ смѣну своихъ идеаловъ, на подобіе самого поэта, и носятъ въ своей натурѣ то глубокое противорѣчіе и тотъ разладъ, которыми отмѣчено все творчество Ибсена.—Узкій, отвлеченный идеализмъ романтика, восторженнаго мечтателя, воспитаннаго лютеранской скандинавской средою, — идеализмъ Бранда, Пеера Гинта и отчасти Юліана, это у Рубека стройная одинокая статуя красавицы, нетронутой земными житейскими волненіями; это идеаль поэтический, высоко парящій надъ дѣйствительностью. Но вотъ житейскій опытъ поэта расширяетъ его пониманіе жизни. Новый его идеаль уже не можетъ вылиться въ одинокой фигурѣ; понятіе личности и ея стремленій не умѣщается на прежнемъ основаніи: въ вопросѣ о высокомъ назначеніи челоуѣка теперь выдвигается среда, т. е. совокупность условій жизни—географическихъ, расовыхъ,

историческихъ, экономическихъ и т. п.—Въ этихъ воздѣйствіяхъ среды нашла напр. г-жа Альвингъ въ „Привидѣніяхъ“ основаніе для новыхъ взглядовъ на свое прошлое и на безпутную жизнь мужа, загубленную всѣмъ бытомъ и природою родины.—Среда держитъ человѣка въ зависимости отъ земли, отъ физической животной жизни; а эта зависимость мѣшаетъ проявленію высшаго духовнаго начала въ душѣ. Оттого идеаль личнаго спасенія и не можетъ долѣе господствовать надо всею группою, — надъ цѣлымъ міропониманіемъ поэта; — оттого и свѣтъ радостнаго преображенія затемняется на лицѣ статуи; потому что полное и всестороннее удовлетвореніе высшихъ стремленій не можетъ быть удѣломъ отдѣльной личности. И поэту не отдѣлится теперь отъ міра реальнаго, какъ бы ни былъ высокъ полетъ его фантазіи; и онъ плачется о погибшей мечтѣ, кается въ заблужденіяхъ юности; съ горечью онъ констатируетъ силу житейской грязи, силу животной жизни въ человѣкѣ, ту *bête humaine*, торжество которой такъ прославлялось современниками Ибсена, Золя, Мопассаномъ и друг.

Вотъ въ какомъ смыслѣ могутъ быть поняты субъективные намеки Ибсена въ дѣятельности Рубека. Такіе намеки можно найти и въ „Строителѣ Сольнесѣ“, и въ „Росмерсгольмѣ“ и въ „Привидѣніяхъ“, не говоря уже о болѣе раннихъ драмахъ, гдѣ авторъ самъ въ нихъ признавался. Попытка объяснить эти намеки привлекаетъ многихъ толкователей, и про этихъ-то толкователей быть можетъ и говорить Рубекъ, что люди видятъ въ его произведе-

ни то, чего. въ немъ вовсе нѣтъ. Художественный образъ или символъ—не ребусъ и не можетъ быть разгаданъ какъ загадка; онъ передаетъ только общій смыслъ дѣятельности и настроеній поэта. Объяснить то загадочное и недоговоренное, чѣмъ Ибсенъ такъ любитъ интриговать своихъ читателей, можетъ только изученіе всего его творчества, а никакъ не болѣе или менѣе остроумное подтасовыванье различныхъ идей и тенденцій. Значеніе символовъ Ибсена весьма широко; это—свойство его таланта и отчасти наслѣдіе романтики. Въ этихъ символахъ сказалась такая обширность умственного горизонта и такое обиліе, разносторонность и глубина взглядовъ Ибсена на жизнь,—что они долго будутъ привлекать пытливость критики. Но уже и теперь мы имѣемъ право утверждать, что ихъ главный интересъ—та душевная ломка и тѣ страданія, которыя сопровождаютъ смѣну нравственныхъ идеаловъ. Потому-то эта смѣна и самый вопросъ объ идеалѣ будущаго, или о томъ, что называется „воскресеніемъ“, и резюмируется поэтомъ въ старческомъ „эпилогѣ“ его дѣятельности, въ драмѣ „Когда мы мертвые проснемся“... Въ чемъ это рѣшеніе состоитъ—мы увидимъ, если рассмотримъ какъ происходитъ воскресеніе Ирены и возвращеніе Рубека къ идеаламъ молодости. Но прежде намъ слѣдуетъ вернуться къ тѣмъ же задачамъ у Толстого: къ воскрешенію Нехлюдовымъ Катюши и къ его исканіямъ новаго идеала.

IV

ВОСКРЕШЕНИЕ КАТЮШИ.

Воскрешение женщинъ, загубленныхъ эгоизмомъ, и воскресение самихъ героевъ, Нехлюдова и Рубека, происходятъ въ драмѣ и романѣ такъ непохоже, какъ не похожъ у Толстого и у Ибсена ихъ общій взглядъ на жизнь и любовь. И обрисованы эти процессы душевной жизни тоже сообразно съ несходными характерами романиста и драматурга. У Толстого драма душевной жизни рассказана съ ясностью, опредѣленностью и отчетливостью, которыя исполнѣ соотвѣтствуютъ ясности и твердости убѣжденій его, какъ моралиста и вѣроучителя. У Ибсена недосказанное и неясное въ положеніяхъ и дѣйствіяхъ его героевъ такъ же, какъ и мистическая туманность заключенія, отвѣчаютъ широтѣ его взглядовъ и возвышенности его идеалистическаго настроенія. Но романъ Толстого, несмотря на всю ту ясность мысли, которая такъ характерна для нашего писателя, можетъ быть понятъ и истолкованъ

совершенно превратно, если къ нему подойти съ предвзятою цѣлью—съ цѣлью опровергать самую мысль или и обличать односторонность ея освѣщенія. Попробуемъ подойти къ нему безъ такихъ намѣреній; откинемъ всю фактическую детальность разсказа и вглядимся въ ту драму, которая раскрывается передъ нами въ оживаніи двухъ омертвѣлыхъ душъ.

Жизнь настоящая — съ ея полнотою, свободою и радостью — состоитъ для Нехлюдова въ согласіи его поступковъ и совѣсти. Но это согласіе нарушается всѣмъ строемъ жизни, которая, по мнѣнію Толстого, сперва противорѣчитъ присущему нашей душѣ голосу добра и истины, а потомъ и со-всѣмъ заглушаетъ этотъ голосъ. Такъ было съ Нехлюдовымъ послѣ того, какъ онъ совершилъ преступленіе надъ любившей его дѣвушкою. Совѣсть говорила ему, что онъ поступилъ „скверно, подло, жестоко“¹. „Воспоминаніе это жгло его совѣсть“. Ему слишкомъ больно и стыдно было вспоминать про это: думая объ этомъ, онъ не могъ бы жить бодро и весело; и онъ пересталъ думать, старался забыть и — забылъ. Но вотъ встрѣча въ судѣ подняла въ душѣ „сложную и мучительную работу“: совѣсть требовала „признанія своей безсердечности, жестокости, подлости“. Но онъ не сразу пришелъ къ такому полному признанію своей вины. Прежде всего, на первый планъ выступило самолюбіе. Узнавши въ подсудимой Катюшу, онъ думалъ только о томъ, какъ бы не узналось это на

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 97.

судѣ и какъ бы его не осрамили передъ всѣми ¹. Въ глубинѣ души онъ чувствуетъ, что онъ негодяй, „но сохраняетъ внѣшнее спокойствіе и, слѣдя за всѣмъ, что совершается, наблюдая за Масловой, онъ испытываетъ смѣшанное чувство гадливости, вмѣстѣ съ жалостью къ ней, и досады на себя. Но все-таки страхъ передъ позоромъ сильнѣе всего“ ². И долго въ судѣ Нехлюдовъ не покоряется чувству раскаянія. Хотя онъ чувствуетъ „всю жестокость, подлость и низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самовольной жизни“, но онъ все еще не понимаетъ того, что сдѣлалъ и что происходитъ предъ нимъ ³. Только ошибка присяжныхъ, приговорившихъ невинную къ каторгѣ, эта новая къ ней жестокость и несправедливость судьбы, въ которой и онъ самъ опять является участникомъ, заглушаютъ въ Нехлюдовѣ непріязненность и гадливость къ этой женщинѣ. Инстинктивно онъ начинаетъ дѣйствовать, чтобы спасти ее, не думая, не разсуждая и не колеблясь: „самъ не зная зачѣмъ“, говоритъ гр. Толстой ⁴, бѣжитъ онъ за осужденною, затѣмъ обращается къ предсѣдателю, къ прокурору. Сразу онъ не можетъ разобраться въ сложности всѣхъ овладѣвшихъ имъ чувствъ: отъ нихъ у него стало только уныло и мрачно на душѣ и ему захотѣлось отдохнуть и развлечься. Онъ ѣдетъ къ Корчагинымъ; — но тамъ онъ не находитъ успокоенія; въ душѣ продолжается

¹ Тамъ же, Стр. 98. ² Стр. 114. ³ Стр. 117. ⁴ Стр. 128.

работа, начавшаяся при видѣ Масловой: „странное, необыкновенное и важное событіе“ этой встрѣчи озаряетъ ему все новымъ свѣтомъ, а при этомъ свѣтѣ условность, неестественность, непривлекательность того круга лицъ, съ которыми онъ до тѣхъ поръ сносился, — стала особенно замѣтной. Онъ возвращается домой съ чувствомъ, что въ его жизни все „гадко и стыдно“; онъ чувствуетъ потребность освободиться отъ фальшивыхъ отношеній, опутывающихъ его. Воспоминаніе объ арестанткѣ Масловой потянуло за собою воспоминанія молодости; а сравненіе того, чѣмъ онъ былъ въ молодые годы съ тѣмъ, какъ онъ жилъ потомъ, указало на тотъ разладъ, который существовалъ теперь между его жизнью и требованіями его совѣсти. Тутъ-то и происходитъ въ немъ очищеніе его внутренняго духовнаго существа, — восторженное пробужденіе къ новой жизни: онъ рѣшаетъ порвать сразу всю ложь и загладить вину передъ Катюшею. Этотъ подъемъ духа заставляетъ его снова почувствовать полноту, свободу и радость жизни, — а вмѣстѣ съ тѣмъ и горделивое сознаніе своей добродѣтели. Умиленіе передъ своей готовностью всѣмъ жертвовать ради нравственнаго удовлетворенія, — это самолюбование долго не покидаетъ Нехлюдова; даже его молитвенный подъемъ духа имѣетъ въ своей основѣ ту-же гордость, т. е. стремленіе возвыситься надъ самимъ собою, надъ своимъ прошлымъ, и напрячь всѣ силы въ достиженіи высшаго нравственнаго идеала. Потому и въ порывѣ спасти и облагодѣтельствовать Катюшу, Нехлюдовымъ руководитъ

не непосредственное чувство человеколюбія, а удовлетвореніе той гордости, которая не терпитъ на совѣсти преступленія. Это тоже эгоизмъ своего рода, не низменный эгоизмъ, не „звѣрь“, не животная сторона человѣческой природы, но все-таки зло эгоизма. И отъ этого зла Нехлюдова избавляетъ только новый опытъ жизни и, усиленное сношеніями съ Катюшей, сознаніе той вины, которую онъ хочетъ искупить.

Совѣсть, которая подъ давленіемъ покаяннаго настроенія, освѣтила ему теперь всю его личную жизнь, направляетъ по новому и его критическую мысль, его наблюденія надъ окружающею жизнью. Когда судятъ мальчика за кражу ненужныхъ половиковъ, Нехлюдовъ, поглощенный самоанализомъ, сравниваетъ мальчика съ собою и его жизнь съ своею жизнью, болѣе, какъ ему теперь кажется, опасною для общества и развратною; онъ задумывается надъ вопросами общественной жизни, надъ правомъ общества судить и карать преступника. Мысль его, направляемая совѣстью, работаетъ усиленно: онъ этою мыслью стремится расширить свой личный опытъ, чтобы пересмотрѣть и провѣрить,—переоцѣнить — установившіеся взгляды. А затѣмъ, на основаніи этого опыта, движимый опять-таки сердечными своими чувствами, онъ вырабатываетъ свою норму человѣческихъ отношеній и свой идеаль общественной жизни. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ нравственнымъ обновленіемъ, онъ переживаетъ переворотъ умственный. И въ этомъ напряженіи всѣхъ силъ сердца и ума, въ этомъ усиліи согласовать

свою жизнь съ нравственнымъ идеаломъ — состоитъ „воскресеніе“ Нехлюдова, т. е. возвращеніе его къ добрымъ свободнымъ чувствамъ молодости и очищеніе въ себѣ того „Истиннаго, Божественнаго я“, въ которомъ онъ находитъ высшій законъ жизни и которому стремится подчинить всю жизнь. Во внѣшней жизни его это воскресеніе выражается заботою о спасеніи загубленной имъ Катюши.

Внутренній міръ погибшей женщины не поддается такому детальному анализу, какъ душевная жизнь Нехлюдова. Авторъ показываетъ намъ этотъ міръ отрывочно, проблесками, сперва характеризуя весь строй этой души однимъ широкимъ обобщеніемъ, а затѣмъ немногими сильными чертами въ краткихъ свиданіяхъ Катюши съ Нехлюдовымъ. Эгоизмъ самый низменный, — эгоизмъ свой и эгоизмъ всѣхъ окружающихъ — вотъ единственный смыслъ этого существованія. О прежней жизни, гдѣ была и любовь съ ея радостью и полнотою чувства, и вѣра въ любимаго человѣка, Маслова похоронила всѣ воспоминанія. Съ той страшной ночи, когда она увидала Нехлюдова въ вагонѣ и поняла, что она обманута и брошена имъ, она перестала вѣрить въ добро, въ Бога. А весь ея позднѣйшій опытъ только подтверждалъ ей то, что всѣ въ жизни преслѣдуютъ однѣ только эгоистическія цѣли, заботятся только о личныхъ выгодахъ или удовольствіяхъ, и что все, что говорятъ про Бога и про законъ Его, только ложь и обманъ. Мысль о причинѣ страданій, такъ же какъ голосъ совѣсти, она заглушала табакомъ и виномъ; о прошломъ не ду-

мала, а относительно своего образа жизни и своего положенія въ обществѣ, она усвоила себѣ такіе взгляды, какіе могли только оправдать и одобрить ее. Оттого положеніе это казалось ей важнымъ и хорошимъ ¹; и оттого она и не стремилась вытти изъ него и не сразу пошла по тому пути, на который ее хотѣлъ вывести Нехлюдовъ.

Сначала, въ первое свое свиданіе съ нимъ, она не хочетъ даже вспоминать прошлаго: слишкомъ больно; она не хочетъ видѣть въ Нехлюдовѣ того юношу, котораго когда-то любила; потому она и пробуетъ отнестись такъ къ нему, какъ относилась ко всѣмъ въ своей теперешней жизни; нужно только чѣмъ-нибудь попользоваться отъ него: она проситъ денегъ. Онъ увидалъ тутъ, что она мертвая женщина и безнадежность овладѣла было имъ, но онъ вскорѣ поборолъ себя: онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, призывая того бога, котораго онъ почуялъ наканунѣ въ душѣ своей, и сталъ просить у нея прощенія. Она не хотѣла понять его: онъ даже почувствовалъ въ ней что-то враждебное къ себѣ, что не поддавалось его желанію проникнуть до ея сердца и духовно разбудить ее. А между тѣмъ „онъ чувствовалъ ², что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, — но самая трудность этого дѣла привлекала его“. У него проявляется тутъ новое чувство: любовь. Трудность дѣла, взятаго имъ на себя въ моментъ молитвеннаго подъема духа, не только смиряетъ его гор-

¹ Тамъ же стр. 216—218. ² стр. 215.

дость, но вызываетъ и укрѣпляетъ въ немъ любовь къ человѣчеству, т. е. природную доброту его сердца. „Онъ испытываетъ къ ней теперь чувство такое, какого никогда не испытывалъ прежде ни къ ней, ни къ кому-либо другому, въ которомъ ничего не было личнаго: онъ ничего не желалъ себѣ отъ нея, а желалъ только того, чтобы она перестала быть такою, какою она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такою, какою она была прежде“. Несмотря на то, что онъ прочелъ въ ея взглядѣ нѣчто „грубое, страшное, отталкивающее“, онъ не отступаетъ: онъ не хочетъ вѣрить, что она окончательно погибла; онъ хочетъ воскресить ее. И хочетъ онъ этого не ради только успокоенія личнаго, своего; — ради такого успокоенія онъ бы могъ удовлетвориться одною попыткою и отказаться отъ дальнѣйшихъ усилій. Нѣтъ. Въ немъ возникаетъ желаніе видѣть и въ ней ту полноту жизни, которую онъ испыталъ самъ, порвавъ съ прошлымъ; желаніе дать ей то довольство, то счастье, на которое она потому имѣетъ право, что она — человѣкъ, надѣленный, какъ Нехлюдовъ самъ и какъ всѣ мы, — потребностью жизни и счастья. Эта доброта, широкое гуманное чувство, есть та любовь къ ближнему, которая согласуется съ высшими стремленіями духа и даетъ теперь ясную, прямую цѣль дѣятельности Нехлюдова, заставляетъ его забыть про эгоизмъ своей гордости и тщеславія.

Чувство это находитъ наконецъ доступъ и въ сердце погибшей женщины, хотя не скоро и не тѣмъ путемъ, о которомъ думалъ Нехлюдовъ. Сперва

оно приносить ей одни страданія, потому что появленіе Нехлюдова въ тюрьмѣ заставило ее вспомнить прошлое, а вспоминать ей было больно; чтобы заглушить эту боль, она сильнѣе пьетъ. Вмѣстѣ съ болью воспоминаній у нея поднимается со дна души и вся злоба на Нехлюдова, загложшая было въ новой жизни, и все отчаяніе, приведшее ее къ этой жизни. Злоба и отчаяніе овладѣваютъ ею съ особой силою, когда во второмъ свиданіи въ тюрьмѣ онъ заговорилъ о Богѣ, объ искупленіи своей вины. Въ этомъ призываніи Бога она видитъ только его желаніе личнаго спокойствія, личнаго спасенія, новый, слѣдовательно, видъ того эгоизма, который погубилъ ее. Она бросаетъ ему злыя, жестокія слова въ отвѣтъ на выраженную имъ готовность на ней жениться: „Ты мною хочешь спастись!.. Ты мною въ этой жизни услаждался, мной-же хочешь и на томъ свѣтѣ спастись!“¹ Злыя, жестокія слова пьяной женщины заключаютъ долю истины; а отчаяніе погибшаго существа, сознавашаго свою гибель, дѣйствуетъ на Нехлюдова благотворно: теперь только онъ вполнѣ понялъ всю силу своей вины и почувствовалъ всю свою преступность. „Онъ увидалъ теперь только то, что онъ сдѣлалъ съ душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сдѣлано съ нею. Прежде Нехлюдовъ игралъ своимъ чувствомъ, любовался самимъ собою и своимъ раскаяніемъ, теперь ему было просто страшно“². Страшно было передъ тѣмъ зломъ, которое обнаружилось съ

¹ Тамъ же. Стр. 237.

² Стр. 239.

такую ясностью и передъ трудностью взятаго на себя дѣла. Но Нехлюдовъ не отступаетъ; только въ настойчивости его нѣтъ уже того порыва, который наполнилъ душу торжествомъ удовлетворенной совѣсти; нѣтъ того смиренія, про которое говорится, что оно паче гордости; нѣтъ и радости обновленія. Тутъ — только сознаніе долга и долга мучительно тяжелаго, сознаніе необходимости побѣды надъ своимъ страхомъ и надъ своимъ отвращеніемъ. Взять на себя этотъ долгъ было не трудно, но нести его тяжело, и Нехлюдовъ чувствуетъ всю тяжесть его и всю напряженность своихъ усилій; а отказаться не можетъ. Любовь—высокочеловѣчная, чистая, безовсякихъ эгоистическихъ импульсовъ,—которую онъ нашелъ въ своемъ сердцѣ,—и вѣра въ добро, которая присуща его чуткой совѣсти, поддерживаютъ теперь и укрѣпляютъ настойчивость его усилій.

Эта любовь и эта вѣра будятъ такія же чувства и въ душѣ женщины, побѣждаютъ ея злобу и возвращаютъ ее понемногу къ новой жизни. Уже въ слѣдующее свиданіе съ Нехлюдовымъ она „подходить тихая и робкая“, проситъ прощенія за предыдущую сцену и, хотя она повторяетъ свой отказъ, но Нехлюдовъ не можетъ не чувствовать въ ней перемѣну къ лучшему. А это „сразу уничтожило въ душѣ Нехлюдова его сомнѣнія и вернуло его къ прежнему серьезному, торжественному, и умиленному состоянію“¹. И въ ней теперь заговорила совѣсть: — его раскаяніе, его слова смиренія и кро-

¹ Тамъ же. Стр. 276.

тости, его дѣла милосердія, — хлопоты о несчастныхъ, — вызвали въ ней проблески нравственнаго сознанія. Совѣсть заговорила въ ней настолько сильно, что она признаетъ себя виноватой, и не боится приговора: она хочетъ наказаніемъ искупить свою вину, не боится каторги. „Я не за это, такъ за другое того стою...“ говоритъ она. А затѣмъ, справившись съ волненіемъ и перемѣнивъ разговоръ, она сама не дожидаясь его указаній, общается все сдѣлать, что онъ хочетъ, — работать, не пить вина... Упрямство ея озлобленія сломлено; и эта побѣда его напряженнаго усилія даетъ Нехлюдову „совершенно новое, никогда не испытанное имъ чувство увѣренности въ непобѣдимости любви“¹. Это чувство утверждаетъ его въ новомъ образѣ мысли, въ преслѣдованіи новыхъ цѣлей жизни. Онъ уѣзжаетъ въ деревню, чтобы распутать и заново установить свои отношенія къ собственности, къ землѣ, къ крестьянамъ. Катюша идетъ работать въ больницу. Этою-то ступенью обновляющейся жизни кончается 1-я часть „Воскресенія“.

Во 2-й части мы видимъ, что то прошлое, которымъ и Нехлюдовъ и Маслова жили до встрѣчи въ Судѣ, тяготѣетъ надъ ними и не даетъ имъ подчинить жизнь тѣмъ новымъ чувствамъ, которыя овладѣваютъ ихъ душой. На Нехлюдова, въ его воздѣйствіяхъ на Катюшу, нападаютъ сомнѣнія; а Катюша снова отдается чувствамъ отчаянія и злобы, но не надолго: въ общемъ, измѣненіе ея душевнаго

¹ Тамъ же. Стр. 277.

строя продолжается такъ же, какъ и тотъ переворотъ мысли, который начался у Нехлюдова, въ видѣ пересмотра и провѣрки его отношеній къ жизни и къ обществу. Въ той деревнѣ, гдѣ онъ любилъ Катюшу, Нехлюдовъ снова переживаетъ въ одну радостную, счастливую ночь и молитвенный подъемъ духа и свѣтлыя возвышенныя мечты юности; только эти мечты воплощаются для него теперь не въ безформенныя желанія, а въ дѣйствія и поступки. Все дѣло жизни, — всѣ вопросы, раньше затруднявшіе его, — теперь рѣшаются для него необычайно быстро и просто. „Просто было потому, что онъ думалъ не о себѣ, не о томъ, что съ нимъ произойдетъ, а о томъ, что надо дѣлать для другихъ“. Что дѣлать онъ зналъ несомнѣнно: надо отдать землю крестьянамъ, надо помогать Катюшѣ, искупая свою вину передъ нею, надо изучить, разобрать, понять всѣ „дѣла судовъ и наказаній, въ которыхъ онъ чувствовалъ, что видитъ что-то такое, чего не видятъ другіе“. А зачѣмъ все это надо? Весь смыслъ этого дѣла ему непонятенъ и не можетъ быть понятенъ, какъ непонятны въ общемъ всѣ цѣли жизни. Всю жизнь, всѣ отдѣльныя явленія ея и совокупность ихъ „все это понять, понять все дѣло хозяина, не въ моей власти. Но дѣлать Его волю, написанную въ моей совѣсти, — это въ моей власти и это, — я знаю, — несомнѣнно. И когда дѣлаю я несомнѣнно спокоенъ“. „Да, чувствовать себя не хозяиномъ, а слугой, думалъ онъ и радовался этой мысли“.¹

¹ Тамъ же. Стр. 318 — 319.

Божественность личной совѣсти открыта Нехлюдовымъ въ ночь послѣ встрѣчи съ Катюшей въ Судѣ. А затѣмъ всѣ впечатлѣнія и ощущенія, которыя онъ переживаетъ, какъ при посѣщеніи тюрьмы, такъ и въ деревнѣ, только укрѣпляютъ въ немъ вѣру въ это божество. Оно и не можетъ быть иначе. Вѣра эта есть результатъ его повышенной чувствительности и его отзывчивости на чужое страданіе т. е. результатъ той природной его, непосредственной *доброты*, которая доселѣ подавлялась и общественной средой съ ея порочностью и ложью, и личными свойствами его гордой, тщеславной природы. Основа этой вѣры—любовь и состраданіе къ человѣку—открылась ему въ моментъ прозрѣнія и раскаянія, когда онъ рѣшилъ жениться на Катюшѣ. Затѣмъ сношенія съ Катюшей уничтожили и ту примѣсь гордости и самолюбованія, которая сопровождала его добрыя побужденія; а въ деревнѣ видъ жалкихъ обнищавшихъ крестьянъ еще болѣе усиливаетъ въ немъ потребность добра и справедливости. Исполнять волю хозяина значить для Нехлюдова слушаться голоса совѣсти какъ непосредственно-добраго, правдиваго инстинкта, и руководствоваться въ своихъ мысляхъ и поступкахъ заботою не о личномъ счастьѣ, а о благѣ ближняго. Подъ именемъ же ближняго имъ понимаются въ данномъ случаѣ тѣ именно люди, съ которыми его сводитъ жизнь: т. е. Катюша и связанный съ нею міръ острога; а затѣмъ—деревня и крестьяне.

Опытъ съ Катюшей, какъ примѣненіе новой вѣры къ жизни,—былъ удаченъ; и въ деревнѣ, въ

отношеніяхъ его къ собственности, опытъ даетъ новыя радости. Уѣзжая изъ деревни, онъ испытываетъ, „радость освобожденія и чувство новизны“¹ какъ путешественникъ, открывающій новыя земли. Вернувшись въ городъ, онъ эти чувства, укрѣпленныя въ деревнѣ новымъ подъемомъ духа, распространяетъ на все, что видитъ кругомъ себя, — на всѣ условія городской жизни. И тутъ снова опредѣляется противорѣчіе между этой вѣрой и всѣмъ бытомъ общества. Какъ въ первый разъ совѣсть, заговорившая въ немъ послѣ встрѣчи въ Судѣ съ Катюшей, показала Нехлюдову всю условность и неестественность жизни того круга, къ которому онъ принадлежалъ, такъ и теперь, послѣ его волнений совѣсти въ деревнѣ, послѣ тѣхъ размышленій и рѣшеній, къ которымъ онъ тамъ пришелъ, онъ не можетъ въ городѣ не видѣть повсюду разлада между существующими порядками и своею потребностью добра и правды. Не рѣшивши еще тѣхъ общихъ вопросовъ, на которые его натолкнулъ Судъ и тюремный бытъ, онъ теперь чувствуетъ только протестъ противъ всего общественнаго строя. Прежде чѣмъ оформить этотъ протестъ и шире обосновать свою новую вѣру, Нехлюдовъ долженъ пройти еще черезъ рядъ сомнѣній и соблазновъ, порождаемыхъ тѣмъ самымъ бытомъ, противъ котораго протестуетъ его совѣсть. Условія жизни, — и его личной, и существующей кругомъ него, — тяготѣютъ надъ нимъ и связываютъ ту свободу, которую онъ нашелъ въ вѣрѣ.

¹ Тамъ же. Стр. 328.

Прошлое тяготѣетъ и надъ Катюшей: тотъ міръ злобы и эгоизма, изъ котораго хочетъ вывести ее Нехлюдовъ, живетъ въ ея памяти и порою вызываетъ въ ней отчаяніе, озлобленіе и потребность забвенія въ винѣ. Такъ было послѣ того свиданія съ Нехлюдовымъ, когда, вернувшись изъ деревни, онъ привезъ ей оттуда фотографическую карточку, снятую въ первое, счастливое время ихъ любви. Нехлюдовъ замѣтилъ тутъ при всей ея сдержанности и какъ будто даже недоброжелательствѣ къ нему важную для ея души переменѣ: что-то неуловимое, новое проступило въ ея фізіономіи,—что-то радостное и счастливое, чего она не смѣетъ высказать ему. И его намѣреніе, вновь имъ подтвержденное, жениться на ней, и свѣтлыя воспоминанія, соединенныя съ портретомъ, вызвали въ ней послѣ ухода его взрывы откровенной радости и веселаго заразительнаго смѣха. Но очень быстро, при первомъ же бѣгломъ наминаніи объ ея недавнемъ прошломъ и о всемъ его ужасѣ, „который она смутно чувствовала, но не позволяла себѣ признавать“ ¹ счастливое настроеніе ея смѣнилось сожалѣніемъ о загубленной жизни, тѣмъ отчаяніемъ и озлобленіемъ, противъ котораго она знала одно только средство—вино. И Нехлюдовъ на этотъ разъ разстается съ нею въ самомъ счастливомъ настроеніи. Сложная работа, которая шла въ ея душѣ, не была понятна ему; онъ только чувствовалъ, что Маслова мѣняется и что эта переменѣ открываетъ ей

Тамъ же. Стр. 344.

ту же истину, что и ему открылась такъ недавно; „эта перемѣна, соединяла его не только съ нею, но и съ Тѣмъ, во имя Кого совершалась эта перемѣна. И это - то соединеніе приводило его въ радостно-возбужденное состояніе“ ¹.

Дѣйствуя, исполняя тяжелый долгъ, взятый имъ на себя во имя новаго чувства и новыхъ вѣрованій, Нехлюдовъ въ успѣшности своихъ дѣйствій не можетъ не видѣть законности этого чувства и не можетъ потому не укрѣпляться въ своихъ новыхъ вѣрованіяхъ. Ихъ торжество и побѣда приводятъ его въ радостное умиленіе. А между тѣмъ, образъ мысли, вытекающій изъ этихъ вѣрованій, все сильнѣе приводитъ его въ противорѣчіе съ его средою. Это противорѣчіе обнаруживается при поѣздкѣ его въ Петербургъ. „Нехлюдовъ, всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ отвращеніе къ той своей средѣ, въ которой онъ жилъ до сихъ поръ, къ той средѣ, гдѣ по его мнѣнію, такъ старательно скрыты были страданія, несомыя милліонами людей для обезпеченія удобствъ и удовольствій малаго числа, — что люди этой среды не видятъ и не могутъ видѣть этихъ страданій, а потому и жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдовъ теперь уже не могъ безъ неловкости и упрека самому себѣ общаться съ людьми этой среды. А между тѣмъ въ эту среду влекли его привычки прошедшей жизни; влекли и родственныя и дружескія отношенія и главное то, что занимало теперь“ ... ² Для помощи Масловой

¹ Тамъ же. Стр. 342. ² Стр. 347.

и другимъ арестантамъ, слѣдовательно для успѣха самого того дѣла добра и правды, которому теперь служить Нехлюдовъ, онъ необходимо долженъ общаться съ этою средою „жестокой и преступной“. И это общеніе не остается безъ вліянія на него; вкусы, привычки, симпатіи къ этимъ людямъ тѣсно связываютъ его съ ними. Самая впечатлительность его, тонкость и чуткость его природы не позволяютъ ему остаться равнодушнымъ къ обаянію того пріятнаго, легкаго и красиваго, чѣмъ живетъ эта среда. И онъ отдается, (впрочемъ ненадолго), обаянію этихъ внѣшнихъ формъ жизни, особенно когда оно принимаетъ образъ женскаго участія, ласки и сочувствія. Но и кокетство умной, тонкой Mariette и весь строй нравственно-безразличной жизни Петербурга, гдѣ повсюду царствующее зло никого не поражаетъ и не возмущаетъ, всетаки не въ силахъ поколебать ни намѣреній Нехлюдова, ни основъ его новой вѣры; мѣняется только его настроеніе, является сомнѣніе въ возможности жить этою вѣрою; сомнѣніе это приводитъ къ тоскѣ и отчаянію. Но на другое же утро онъ опомнился и утвердился въ планахъ новой жизни. „Онъ зналъ, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и, какъ ни привычно и легко было вернуться къ прежнему, онъ зналъ, что это была смерть“¹. Петербургскій большой свѣтъ—это смерть. Жизнь истинная и настоящія ея радости ожидали его среди того многомилліоннаго страдающаго люда, съ которымъ его

¹ Тамъ же. Стр. 400.

связывала Маслова и его новые взгляды. Душѣ Нехлюдова ясно было, что въ Петербургѣ „весь этотъ блескъ, вся эта роскошь прикрываютъ преступленія старья, всѣмъ привычныя, не только не наказуемыя, но торжествующія и изукрашенныя всею тою прелестью, какую только могутъ придумать люди“ ¹. А кокетство Mariette, ея кажущееся сочувствіе его интересамъ, эта ея поддѣльная симпатія, тоже прикрывала собою — отвратительную, эгоистическую, животную сторону чело-вѣка. И Нехлюдовъ ужасался передъ тѣмъ животнымъ, которое „скрывается подъ мнимо-эстетической оболочкой и требуетъ передъ собою преклоненія“ ². Онъ ясно различалъ ложь въ поведеніи Mariette и видѣлъ, что она „играетъ, забавляется этой прекрасной, отвратительной, страшной страстью“. „Знаменательные эпитеты, (помѣщенные, впрочемъ, не во всѣхъ изданіяхъ романа), очень характерны для всего міровоззрѣнія гр. Толстого. Для него любовь — и прекрасна и отвратительна, какъ одновременное проявленіе и духовной, и животной природы чело-вѣка; она и страшна какъ роковая стихійная сила природы.

Тому отвратительному и страшному, что представляла бы собою для Нехлюдова страсть, возбужденная лживостью кокетства и всею порочно-стью его среды, гр. Толстой противопоставляетъ ту освященную новыми вѣрованіями душевную связь, которая возникала между Нехлюдовымъ и Масло-

¹ Тамъ же. Стр. 410. ² Стр. 410.

вой. Вернувшись изъ Петербурга онъ получилъ извѣстіе — ложное — объ ея дурномъ поведеніи въ больницѣ. Онъ „никакъ не думалъ, чтобы Маслова и ея душевное состояніе были такъ близки ему. Извѣстіе это ошеломило его. Онъ испыталъ чувство, подобное тому, которое испытываютъ люди при извѣстіи о неожиданномъ большомъ несчастіи“.¹ При этомъ первое чувство его, какъ самолюбиваго человѣка, было стыдъ, что онъ повѣрилъ ей, повѣрилъ въ перемѣну, происходившую въ ней, и былъ обманутъ. Затѣмъ явилось искушеніе бросить ее, освободиться отъ принятаго на себя долга. Но тутъ совѣсть потребовала, чтобы онъ продолжалъ свое дѣло, а ей предоставилъ чувствовать и поступать, какъ она знаетъ. Что это рѣшеніе его остается неизмѣннымъ, онъ „сказалъ себѣ со злымъ упрямствомъ“...² Озлобленіе изъ за самолюбія на Катюшу, это злое чувство въ преслѣдованіи доброй цѣли, овладѣваетъ имъ и въ слѣдующее затѣмъ свиданіе съ нею. Она противна ему, онъ раздражается на нее; а она догадывается, что онъ повѣрилъ клеветѣ, и огорчается до слезъ. Въ его душѣ боролись, „чувства добра и зла, оскорбленной гордости и жалости къ ней, страдающей, и послѣднее чувство побѣдило“.³ Состраданіе къ ея огорченію родилось въ его сердцѣ одновременно съ чувствомъ собственной виноватости: онъ вспомнилъ, „свою гадость въ томъ, въ чемъ онъ упрекалъ ее“...⁴; а чувство состраданія вызвало нѣжность къ ней. И

¹ Тамъ же. Стр. 411—412. ² Стр. 412. ³ Стр. 415.
Стр. 416.

все свиданіе—съ побѣдою сердечной доброты надъ самолюбіемъ—дало ему, „никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствія и любви ко всѣмъ людямъ. Радовало и подымало Нехлюдова на неиспытанную имъ высоту сознаніе того, что никакіе поступки Масловой не могутъ измѣнить его любви къ ней“.¹ Онъ любилъ ее, прибавляетъ авторъ, не для себя, а для Бога.

Богъ, котораго онъ чуялъ въ своей совѣсти, сознаваясь въ своихъ слабостяхъ, эта новая вѣра въ Него, давая новую цѣль его поступкамъ, перемѣщаетъ центръ тяжести всѣхъ его начинаній. Прежде въ центрѣ всей его жизни стояло его я, тщеславное, самолюбивое я, удовлетворяя которое, онъ не удовлетворялъ своей совѣсти. А теперь на первый планъ ставится любовь къ людямъ: онъ живетъ и трудится не для себя, князя Нехлюдова, а для Бога; и онъ находитъ въ этой жизни, неиспытанная раньше его гордостью, высшія радости. Эта вѣра перестраиваетъ его внѣшній образъ жизни, постепенно перестраиваетъ и все его міровоззрѣніе. Работа мысли, которая началась въ судѣ съ критическаго отношенія ко всему, что онъ тамъ видѣлъ, а потомъ усилилась опытомъ въ деревнѣ, сопровождаетъ теперь всю его практическую дѣятельность. Работая надъ облегченіемъ участи Масловой, надъ помощью другимъ арестантамъ, надъ передачею своей земли крестьянамъ, онъ работаетъ и надъ общими вопросами собственности, суда и наказанія; отвѣта на нихъ онъ ищетъ и у мы-

¹ Тамъ же. Стр. 416.

слителей, въ научныхъ сочиненіяхъ, и въ практической жизни, но находитъ онъ его только въ своей совѣсти. Отвѣтъ — отрицательный: совѣсть, истинное божественное начало добра и правды, отрицаетъ и собственность, и наказаніе. Но это отрицаніе не сразу формулируется у Нехлюдова такъ опредѣленно потому, что онъ поглощенъ и тѣми внѣшними впечатлѣніями, которыя даютъ матеріаль его критикъ, — и тою внутреннею работою, которая устанавливаетъ въ его душѣ положительный идеаль жизни. Всѣ тѣ внѣшнія впечатлѣнія, которыми онъ живетъ теперь, — обстановка острога, проводы арестантовъ, — суровость, жестокость и жизни и смерти этихъ несчастныхъ, — все укрѣпляетъ его въ новой вѣрѣ и помогаетъ найти основной законъ человѣческихъ отношеній. „Взаимная любовь между людьми есть основной законъ жизни человѣческой. Правда, человѣкъ не можетъ заставить себя любить, какъ онъ можетъ заставить себя работать, но изъ этого не слѣдуетъ, что можно обращаться съ людьми безъ любви, особенно, если чего-нибудь требуешь отъ нихъ. Только позволь себѣ обращаться съ людьми безъ любви... и нѣтъ предѣловъ жестокости и звѣрства по отношенію другихъ людей... и нѣтъ предѣловъ страданія для себя“...¹ Это сознаніе „достигнутой высшей ступени ясности въ давно уже занимавшемъ его вопросѣ“ давало ему неиспытанное наслажденіе. Отправляясь вслѣдъ за Катюшею въ Сибирь, въ вагонъ 3-го класса, въ обществѣ крестьянъ, рабочихъ, при-

¹ Тамъ же, Стр. 478.

слуги, „окруженный, совѣтъ новыми людьми, съ ихъ серьезными интересами, радостями и страданіями настоящей трудовой и человѣческой жизни“, Нехлюдовъ сравниваетъ этотъ міръ съ покинутымъ имъ роскошнымъ празднымъ міромъ своей среды и ея ничтожными жалкими интересами. „И онъ испытывалъ чувство радости путешественника, открывшаго новый, неизвѣстный и прекрасный міръ“.¹— Этими словами, выраженіемъ счастливыхъ ощущеній человѣка, переходящаго въ свѣтлую радостную жизнь, заканчивается 2-ая часть „Воскресенія“.

Тутъ воскресеніе и Катюши и Нехлюдова не завершилось еще: они не установили и не разрѣшили своихъ взаимныхъ отношеній и не опредѣлили окончательно своей дальнѣйшей судьбы. Все это авторъ рассказываетъ въ 3-ей части. Тамъ эти люди, обновленные нравственнымъ перерожденіемъ, строятъ и всю жизнь свою по новому: они расходятся. Катюша проявляетъ при этомъ чувства, которыя ставятъ ее нравственно выше Нехлюдова. А Нехлюдовъ, освободившись отъ личныхъ къ ней обязательствъ, остается во власти своихъ новыхъ вѣрованій и находитъ ихъ окончательную формулировку. Какъ мотивируетъ авторъ эту развязку и на какія умозаключенія она наводитъ читателя— увидимъ ниже. А теперь вернемся къ драмѣ Ибсена и къ тѣмъ выводамъ, которые можно изъ нея сдѣлать.

¹ Тамъ же стр. 491.

ВОСКРЕСЕНИЕ У ИБСЕНА.

Нехлюдовъ, когда загубилъ Катюшу, зналъ, что виноватъ передъ нею: у него власть „звѣря“—эгоизма, была навѣяна жизнью, была временная. Не то у Рубека: вины своей передъ Иреною онъ совсѣмъ не чувствовалъ, потому что власть эгоизма была присуща натурѣ его. А дорожилъ онъ Иреною именно въ силу самаго эгоизма своего: онъ зналъ, какъ многимъ онъ былъ обязанъ ей, зналъ, что она дополняла его творческую мысль своею красотою, любовью, готовностью служить ему; потому, когда она бросила его, онъ долго искалъ ее... А затѣмъ, въ ея отсутствіе, годы и житейскій опытъ дали ему новое пониманіе жизни. Возвышенное, отвлеченное представленіе о цѣли и назначеніи индивидуальной личности замѣнилось болѣе конкретнымъ знаніемъ человѣка и дѣйствительности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тоскою разочарованія. Онъ убѣдился въ неосуществимости своей мечты, увидалъ разладъ

между высокими стремленіями къ свободѣ и къ красотѣ и низменными животными свойствами человеческой природы; онъ понималъ и свое собственное безсиліе, зависимость своего творчества отъ окружающей жизни;—а главное, онъ понималъ невозможность, при своемъ одиночествѣ и при своемъ озлобленіи и пессимизмѣ, создать нѣчто крупное, цѣльное и законченное; оттого онъ не находилъ теперь тѣхъ радостей, которыя ему давали его первоначальное мировоззрѣніе и присутствіе Ирены, раздѣлявшей его идеальные порывы. Нехлюдовъ, когда увидалъ Катюшу на скамьѣ подсудимыхъ, разобралъ одно только во всей сложности овладѣвшихъ имъ чувствъ;—а именно, что все въ его жизни „гадко и стыдно“; и онъ понималъ съ ужасающей ясностью, какъ далека его жизнь отъ того идеала добра и правды, который живетъ въ его душѣ. Точно также и Рубекъ, когда встрѣтился съ Ирепой, понималъ, какъ далека его жизнь отъ тѣхъ идеаловъ свободы и красоты, которыми онъ вдохновлялся въ молодости. Какъ Нехлюдовъ почувствовалъ необходимость спасти Катюшу, искупить свою вину передъ ней для того только, чтобы удовлетворить свою гордость, не терпѣвшую на совѣсти этого грѣха;—такъ и Рубекъ почувствовалъ необходимость видѣть близъ себя того, кто имѣлъ бы ключъ къ его гордымъ творческимъ мечтамъ, кто принялъ бы участіе въ его душевной дѣятельности. Обоихъ гордость высихихъ стремленій заставляетъ вернуться къ прошлому, къ женщинамъ, когда-то ими любимымъ и загубленнымъ. Только въ Нехлюдовѣ гордость, преуве-

личенное сознаніе своей личности, уступает постепенно мѣсто гуманности и добротѣ, а Рубекъ остается вѣренъ своей эгоистической природѣ художника, увлеченнаго красотою и не чувствующаго живой жизни, живыхъ страданій человѣка.

Впрочемъ въ душевной дѣятельности Нехлюдова читателю все ясно, все открыто, потому что гр. Толстой рисуетъ намъ эту дѣятельность во всѣхъ ея сложныхъ и мелкихъ деталяхъ. У Ибсена въ Рубекѣ остается много недосказаннаго. Напримѣръ. Нервно-безпокойное, тоскливое настроеніе художника очерчено ясно уже съ 1-й сцены 1-го дѣйствія. Возвращаясь къ этой же темѣ во 2-мъ дѣйствіи, послѣ первой встрѣчи съ Иреною, говоря о своихъ настроеніяхъ и неохотѣ работать, Рубекъ жалуется на свое одиночество: ему необходимо, чтобы кто-нибудь былъ близокъ его внутреннему міру, кто бы дополнял его, былъ за-одно съ нимъ... ¹. Спрашивается: это сознаніе своего безпомощнаго одиночества вызвано въ немъ встрѣчею съ Иреною? или оно явилось независимо отъ нея? Изъ драмы этого ясно не видно; есть основаніе предполагать, что Ирена, напомнивъ ему лучшіе дни его творчества, возбудила въ немъ снова желаніе ея близости и ея любви; это-то желаніе и вернуло ему не только прежнія чувства къ ней, но и прежній подъемъ душевныхъ силъ.

Теперь онъ думаетъ, что она дастъ ему то, чего не можетъ дать маленькая, жизнерадостная Майя.

¹ Переводъ С. Полякова и Ю. Балтрушайтиса, стр. 55—56.
ВОСКРЕСЕНІЕ.

А Майя, между тѣмъ, отлично понимаетъ его натуру, хотя настоящей любви, взаимнаго пониманія и нѣтъ между супругами. Теперь отъ ихъ бывшаго увлеченія осталась одна только цѣпь,—зависимость женщины молодой и полной силъ отъ человѣка, умственно стоящаго выше ея и принижающаго ее своимъ превосходствомъ и своимъ откровенно-бессердечнымъ къ ней отношеніемъ. Впрочемъ Майя все-таки любитъ мужа, хотя и видитъ, что ихъ бездѣтное, тоскливое сожителство не даетъ настоящаго счастья ни ему, ни ей. Искусство, которымъ только и живетъ Рубекъ, она не любитъ и не понимаетъ. Созданія изъ мрамора и глины, въ которыя художникъ вкладываетъ свое чувство и свою мысль,—созданія искусства, имѣющія свою особую жизнь, иную и болѣе высокую, чѣмъ людскія тревоженія,—кажутся ей мертвыми, скучными. А ея личные интересы пусты и мелки; какъ женщина заурядная, но любящая, живая и умная, она могла бы быть счастливою семьянинкою и истинною помощницею мужу, если бы Рубекъ не былъ тѣмъ исключительнымъ человѣкомъ, какимъ его дѣлаетъ узкая, художническая натура его.

Отдавая себѣ отчетъ въ тѣхъ чувствахъ, которыя она внушаетъ теперь Рубеку,—(это особенно ясно выражено, въ первой сценѣ 2-го дѣйствія),—она оказывается и наблюдательнѣе и проникательнѣе его: она понимаетъ, что съ появленіемъ Ирены ей надо устраниться изъ жизни мужа, потому что онъ женился на ней, когда потерялъ Ирену; женился отъ скуки и любилъ ее, какъ игрушку, а

теперь тяготится ею, тоскуетъ съ ней. Она яснѣе и проще смотритъ на вещи, чѣмъ онъ: она видитъ, что въ жизни ей осталось одно благо, — свобода, — и одинъ выходъ изъ ея положенія, неоскорбительный для ея человѣческаго достоинства — разрывъ съ мужемъ. И она разрываетъ узы того брака, въ которомъ нѣтъ уже ни смысла, ни цѣли. Къ тому же она встрѣтила теперь человѣка, болѣе ей близкаго по умственному уровню, по вкусамъ и интересамъ жизни — и уходитъ съ нимъ. А Рубекъ къ такимъ рѣшительнымъ мѣрамъ не способенъ. Онъ боится открытаго разрыва съ женою; желая для себя близости Ирены, онъ думаетъ удержать при себѣ и Майю, онъ хочетъ какого-то компромисса между этими женщинами. Хитрая Майя не безъ насмѣшки предлагаетъ поселиться втроемъ въ ихъ большомъ домѣ... онъ соглашается и не видитъ въ томъ ничего унижительнаго для женщинъ, которыя, однако, обѣ пользуются его уваженіемъ.

Силы воли, мужества для открытыхъ рѣшительныхъ дѣйствій въ натурѣ Рубека такъ же мало, какъ и непосредственной силы чувства и сердечной доброты. И Ирена знаетъ это не хуже Майи. Совѣтуя ему ѣхать въ горы, на высоту, все выше и выше, туда, гдѣ и она будетъ, она сомнѣвается, хватитъ-ли у него мужества быть опять съ нею. Она при этомъ незамѣтно улыбается. И онъ, дѣйствительно, колеблется, а она усиливаетъ свою просьбу. „Почему бы мы не могли то, чего хотимъ“... „Приходи ко мнѣ туда наверхъ“, Когда

вслѣдъ за этими словами является жена, онъ уже твердо заявляетъ ей: „Я хочу въ горы“. Но онъ хочетъ туда, потому что его зоветъ Ирена. Ирена сильнѣе его духомъ, она и возвращаетъ его къ идеаламъ молодости: она воскрешаетъ его. Вообще инициатива драматическаго дѣйствія исходитъ отъ нея: она увѣровала въ него, полюбила его, бросила для него семью и родину; но она же первая поняла свою ошибку и ушла отъ него; а затѣмъ она снова стала искать его и вернулась къ нему, чтобы воскресить въ немъ прошлое. И прошлое дѣйствительно оживаетъ въ немъ. Во 2-мъ дѣйствіи оба снова встрѣчаются въ горахъ, куда онъ послѣдовалъ за нею. Теперь, встрѣтивъ Ирену, онъ уже не можетъ забыть ее: онъ безпрестанно долженъ думать о ней и ему кажется, что онъ годъ за годомъ ждалъ ее, самъ того не сознавая. Въ груди у него заперты его творческія мечты. Ирена унесла ключъ отъ этого сокровища; оттого онъ и не могъ работать, творить... она вернулась и онъ чувствуетъ, что съ нимъ произошла перемѣна, что онъ пробудился къ настоящей своей жизни.¹ Когда онъ говоритъ объ этомъ женѣ, Ирена показывается вдали: она движется какъ мраморное изваяніе, говоритъ Майя. И Рубекъ не можетъ не вспомнить свою статую: Ирена представляется ему воплощеннымъ возстаніемъ изъ мертвыхъ, — воплощеніемъ его молодого идеала. Все, что измѣнило этотъ идеалъ, кажется заблуждені-

¹ Тамъ же. 61 стр.

емъ. „И ее я могъ отставить на задній планъ, — поставить въ тѣнь, — пересоздать, — о я глупецъ!“ восклицаетъ онъ. Въ это время Ирена встрѣчается съ дѣтьми, на игры которыхъ любовался художникъ. Игры эти — незначительный и, казалось бы, ненужный эпизодъ въ драмѣ, но ими очень характерно отбѣняются главные дѣйствующія лица. Майю — игры дѣтей съ ихъ визгами и козлиными прыжками раздражаютъ и сердятъ: она сама еще молода, полна физической энергіи, способна увлекаться охотою, охотниками, собаками и т. п. и ей проявленія такой же внѣшней силы темперамента у дѣтей — надоѣдаютъ. Рубекъ любитъ на дѣтей: онъ находитъ нѣчто гармоничное въ иныхъ моментахъ игры и его радуетъ возможность улавливать эти моменты красоты даже въ неуклюжихъ тѣлодвиженіяхъ. Какъ художникъ, онъ занятъ преимущественно внѣшними формами жизненныхъ явленій. А Ирена относится сердечно къ людямъ: „дѣти окружаютъ ее, говоритъ Ибсенъ, одни ласково и довѣрчиво, другія застѣнчиво и робко“, ¹ но всѣ послушно уходятъ, когда она того хочетъ отъ нихъ. Силу чувства и воли она вноситъ во всѣ, даже незначительныя, случайныя отношенія къ людямъ. Отъ нея то и ждетъ Рубекъ своего воскрешенія. Для него она воскресла и преобразилась; они вмѣстѣ начнутъ новую жизнь. Но она не вѣритъ въ свое преображеніе, не вѣритъ въ возможность новой для нихъ жизни. И ея устами авторъ произ-

¹ Тамъ же. Стр. 63.

носить судъ надъ своимъ героемъ и надъ пережитой имъ душевной драмой. Въ чемъ состояла внутренняя драма, переворотъ, испытанный художникомъ - идеалистомъ, мы видѣли. Но что пережила Ирена? Какую смерть испытала ея душа и почему воскресла эта душа?

Если уже гр. Толстой бѣгло характеризуетъ внутренний міръ Катюши, рисуетъ его немногими широкими штрихами, то Ибсенъ и совсѣмъ скрываетъ отъ насъ душу загубленной отчаяніемъ женщины скрываетъ подъ бредомъ душевно - больного человѣка. Глубокій смыслъ лежитъ въ этомъ бреду;¹ смыслъ понятенъ Рубеку, который догадывается, что она все, что говоритъ, относитъ только къ внутреннему своему опыту; смыслъ понятенъ и внимательному читателю, если онъ взглянетъ на Ирену, какъ на человѣка, пережившаго жизненную катастрофу вполне реальнаго, конкретнаго характера, а не какъ на абстрактную идею, и не какъ на символъ скрывающій эту идею. Для Рубека, въ Иренѣ воплощается, — мы видѣли почему, — опредѣленный идеалъ жизни; но предполагать, что и для читателей она должна изображать собою только отвлеченную идею или свободы, или личности, или личнаго счастья и т. п., и въ этомъ смыслѣ объяснять всѣ ея слова, значить только осложнять запутывать объясненіе, какъ этого характера, такъ и всей драмы.

Красивая молодая дѣвушка вложила всю пол-

¹ Тамъ же. Стр. 35.

ноту душевныхъ силъ своихъ въ любовь къ художнику; но онъ въ силу самой природы своей не могъ раздѣлить ея чувства: онъ художникъ прежде всего и ему произведенія искусства дороже живого человѣка, дороже живой души; онъ и въ ней любитъ только то, что онъ можетъ вложить въ свое творчество; а для личной его жизни ея душа не нужна. Она ушла отъ него озлобленная, съ ненавистью къ нему и съ мстительными чувствами къ его творчеству. Своимъ уходомъ она обезсилила его; тотъ шедевръ, на который она вдохновила его, и остался, какъ она того хотѣла, единственнымъ: ничего подобнаго онъ уже потомъ не создалъ. А та красота ея, которою она служила искусству любимаго человѣка, стала теперь въ озлобленіи ея чувствъ служить низменнымъ инстинктамъ толпы: она показывается въ живыхъ картинахъ въ разныхъ Variétés, кафешантанахъ, кружитъ головы мужчинамъ, зарабатываетъ большія деньги. Сама любить она уже не можетъ: всю силу своего сердца она отдала одному и загубила тѣмъ навсегда свою душу; но внушать любовь она умѣла и пользовалась этимъ, чтобы мстить всѣмъ мужчинамъ за эгоизмъ одного изъ нихъ. Сама мертвая женщина, она своимъ бездушнымъ эгоизмомъ приносить страданія и смерть всѣмъ тѣмъ, кто ее любитъ. Одинъ застрѣлился изъ-за нея; другой уѣхалъ, бросилъ ее; но и его она довела до отчаянія и онъ сталъ изъ-за нея тоже мертвымъ человѣкомъ. Дѣтей она не хотѣла совсѣмъ имѣть: она убивала ихъ, говоритъ

она, много раньше того, чѣмъ они могли появиться на свѣтъ. Въ томъ мірѣ злобы и эгоизма, въ которомъ она жила на подобіе Катюши, не было мѣстнѣжнымъ, добрымъ чувствамъ. Эти чувства ушли когда то на художника и на ихъ общее дѣтище, статую возстанія изъ мертвыхъ. Но, порвавъ съ Рубекомъ, она и это „чадо ихъ въ духѣ и истинѣ“, — рада была бы уничтожить. И она уничтожала его много разъ, — говоритъ она¹, „при свѣтѣ дня и во тѣмѣ ночи; убивала въ ненависти, въ мести, въ мученіи“. Ихъ общее созданіе она убивала тѣмъ, что заглушала въ себѣ всѣ тѣ высшіе порывы, тѣ мысли и чувства, которыя одухотворяли ея красоту и воссоздавались Рубекомъ въ его творчествѣ. Злоба, мстительность и ненависть вызваны въ ней непонятою, нераздѣленною любовью; и ослѣпленіемъ этихъ чувствъ она убиваетъ въ себѣ память прежняго счастья, прежнихъ обманувшихъ ее надеждъ; ими она такъ же заглушаетъ свое страданіе, какъ Маслова заглушаетъ виномъ горечь своихъ воспоминаній. Но душа богато отъ природы одаренной женщины не выдерживаетъ жизни среди разврата. Наступаетъ полоса полного забвенія, потери разсудка. Въ лѣчебницѣ душевно - больныхъ несчастная опомнилась: она поняла, сама поняла, что она мертвая женщина и стала оживать въ силу той же самой любви, которая озлобила и погубила ее. Начавши выздоравливать, она поняла, что отдала когда то нѣчто не-

¹ Тамъ же. Стр. 32.

замѣнимое,— юную, живую свою душу; вспомнила про того, кто взялъ эту душу, чтобы вложить ее въ статую, а ее лишилъ настоящей ея жизни. Она вспомнила про Рубека и ихъ общее созданіе и стала искать художника¹. Встрѣтилась она съ нимъ не вполне еще выздоровѣвшей, только начинающей пробуждаться отъ длиннаго забытья. Эта встрѣча и довершаетъ ея воскресеніе, ея возвращеніе если не къ счастью и радости жизни, то къ силѣ прежней любви и къ полнотѣ сознанія.

Съ перваго уже момента встрѣчи своей съ Рубекомъ Ирена рисуется у Ибсена женщиною, плохо владѣющею своими мыслями, какъ человѣкъ всецѣло поглощенный однимъ только чувствомъ, которое дѣйствуетъ въ немъ какъ будто помимо его воли. Въ отвѣтъ на замѣчаніе Рубека, что въ ея словахъ есть скрытый смыслъ, который онъ одинъ понимаетъ, она объясняетъ, что это не сама она говоритъ, а ей кажется, будто каждое ея слово поддается ей на ухо. Совершенно естественно, что про болѣзнь, т.-е. про горячечную рубашку и комнату съ желѣзными рѣшетками, обитую матрацами, она говоритъ съ волненіемъ и дрожью, какъ про могилу, изъ которой не доносились до земли ея крики. А про ту жизнь, которую она вела до этого, она вспоминаетъ, какъ бы отсутствуя; съ окаменѣлымъ лицомъ, вспоминаетъ она и про обоихъ мужей и про дѣтей; за то, про все, что касается ея отношеній къ Рубеку, она говоритъ вполне ясно,

¹ Тамъ же. Стр. 44.

сознательно и энергично. Не менѣе энергично добивается она и той цѣли, которая намѣчена ея чувствомъ: Рубекъ ѣдетъ съ нею въ горы. Но полное сознаніе нормально-здороваго человѣка не вернулось еще къ ней: страданія ея сердца, смутно сознаваемые, хотя и мучительныя, принимаютъ форму бредовыхъ представленій. Такъ напр. она ненавидитъ дьякониссу, которая не выпускаетъ ее изъ подъ надзора. „Она—вѣдьма, жалуется Ирена, она превратилась въ мою тѣнь!“ Рубекъ успокаиваетъ ее: тѣнь есть вѣдь у всякаго. „А я сама—своя собственная тѣнь. Пойми же меня“, ¹ горячится Ирена. Надзоръ дьякониссы—это напоминаніе объ ея болѣзни, объ ея тяжелыхъ страданіяхъ. Если она сама представляется себѣ собственной тѣнью и это мучить и терзаетъ ее, то это—мученія ея воспоминаній о прошломъ, о жизни, загубленной развратомъ и приведшей ее къ болѣзни. И Рубекъ понимаетъ ее и сочувствуетъ этимъ терзаніямъ: и его тоже мучить прошлое. Онъ не можетъ теперь глядѣть на нее: „тебя мучить тѣнь, а меня грызетъ раскаяніе!“ Этого только признанія и надо было Иренѣ; крикъ радости вырывается у ней: „Наконецъ то“! облегченно говоритъ она. Теперь, наконецъ, она освободилась отъ своихъ больныхъ, злыхъ ощущеній: она можетъ говорить съ Рубекомъ, какъ прежде. То, что онъ сознаетъ свою вину передъ нею, возвращаетъ ее къ прежнимъ здоровымъ чувствамъ: „Я изъ дальнихъ странъ

¹ Тамъ же. Стр. 66.

вернулась къ тебѣ, Арнольдъ, назадъ къ моему господину и повелителю...“¹. Тутъ то она и признается ему, что бросила его изъ ненависти къ нему, какъ къ человѣку, въ которомъ художникъ былъ сильнѣе мужчины; но дитя свое, ихъ общее созданіе, она любила и изъ-за него-то, изъ-за того куска глины, въ которомъ онъ воплотилъ юную, живую душу ея, она и предприняла теперь путешествіе, она и стала разыскивать Рубека.

Рубекъ рассказываетъ ей о томъ умственномъ переломѣ, который онъ испыталъ послѣ ея ухода и о томъ измѣненіи, которому сообразно съ этимъ переломомъ онъ подвергъ статую „Воскресенія“. Въ теченіе всей этой сцены быстрая смѣна противоположныхъ чувствъ въ Иренѣ указываетъ на силу ея болѣзненной впечатлительности. Какъ въ Катюшѣ чувства любви и радости, вызванныя портретомъ, который Нехлюдовъ привезъ ей изъ деревни, быстро смѣнились злобою и ненавистью къ нему,—такъ и Ирена переживаетъ подобную же смѣсь добрыхъ и злыхъ чувствъ къ Рубеку во время его исповѣди, при воспоминаніи о быломъ счастьѣ. Злые чувства доходятъ до дикости, до покушенія на его жизнь; а доброе, нѣжное чувство къ нему граничитъ съ презрительною жалостью къ его малодушію. Сложность и спутанность этихъ чувствъ сказывается во внѣшней ея манерѣ: слушающая его рассказъ, она перебиваетъ, переспрашиваетъ его; она напряженно слѣдитъ за его сло-

¹ Тамъ же. Стр. 67.

вами, держать ножъ на готовѣ, то вынимаетъ, то прячетъ этотъ ножъ; наконецъ, она заноситъ его надъ нимъ, когда узнаетъ, что онъ ея статую отодвинулъ на задній планъ, но, — онъ только пристально взглянулъ на нее и она опять прячетъ ножъ. Онъ художникъ — поэтъ; въ этомъ она видитъ и обвиненіе, и оправданіе его. „Сперва ты убилъ душу во мнѣ, говоритъ она, а потомъ лѣпишь себя кающимся, винишь себя, думаешь, что этимъ рассчитаешь и конченъ“¹. Женщина въ ней не прощаетъ оскорбленной гордости; но вѣдь по натурѣ его оно иначе и быть не можетъ. Если художникъ воплотилъ въ образахъ горячее, живое чувство, — будь то чувство раскаянія, — онъ этимъ такъ же дѣятельно проявилъ себя, какъ проявляютъ себя тѣ, кто поступками выражаютъ раскаяніе и тѣмъ искупаютъ вину свою: оправданіе кающагося художника, искупленіе его вины, — въ силѣ и искренности созданнаго имъ произведенія. Ирена видитъ это, но погибшей своей жизни простить ему все-таки не можетъ. Она смотритъ съ скрытою злобною улыбкою, но говоритъ мягко и кротко. „Ты поэтъ, Арнольдъ“. Тихо гладитъ его по головѣ. „Какъ ты не видишь этого, милое, большое, старѣющее дитя“. Въ словѣ „поэтъ“ отпущеніе его грѣховъ. Но для нея самой нѣтъ прощенія; тому грѣху самоубійства, который она совершила, нѣтъ отпущенія. Она знаетъ, что не Рубекъ одинъ виноватъ въ гибели ея души, не онъ только загубилъ ее: она сама глу-

¹ Тамъ же. Стр. 75.

боко виновата передъ собою; онъ художникъ,—онъ рожденъ для творчества и онъ только выполнялъ свое назначеніе, когда пользовался ея душевной и тѣлесной красотой для своихъ произведеній; что онъ губилъ ее, онъ не сознавалъ; эгоизмъ его — въ основѣ его натуры; преступленіе его было предрѣшено, предопредѣлено самою судьбою т. е. всею природою его творчества, его фантазіи и черстваго сердца. А у ней при силѣ ея чувствительности было свое назначеніе; но она сама ото всего отказалась, чтобы подчиниться и служить Рубеку. Ея назначеніе — была семья: она должна была бы имѣть дѣтей, настоящихъ, а не тѣхъ, какія, какъ статуя Рубека, хранятся въ музеяхъ, погребены тамъ, какъ въ могилахъ. И отъ этого своего призванія она самовольно отказалась, пожертвовала имъ для своей любви. Она отреклась отъ своей личности, чтобы стать рабою своего повелителя; она создала себѣ кумиръ изъ гордости своего обольстителя и поклонялась ему, какъ Богу. И этотъ грѣхъ искупить ничѣмъ нельзя: это смертный грѣхъ противъ самой себя, это — нравственное самоубійство. Обвиняя Рубека въ своей смерти, она и себя оправдать не можетъ; оттого она и страдаетъ больше, чѣмъ онъ.

Оживая, воскресая теперь къ полнотѣ нравственного сознанія, она и любить Рубека какъ прежде, и ненавидить его за это прежнее,—за прошлое. А прошлое, счастливую пору ихъ совмѣстнаго труда и отдыха съ поэтической игрою на берегу озера, — ей теперь и отрадно, и больно вспоминать. Въ возможность вернуть это прошлое, вернуть любовь и на-

чать обоимъ жизнь сызнова, какъ Рубекъ о томъ мечтаетъ,—она не вѣрить: слишкомъ хорошо знаетъ она и себя, и его. Предложеніе его поселиться съ нимъ на берегу того озера, гдѣ они были такъ счастливы,—вызываетъ у ней только презрительную улыбку: „съ тобою и съ тою дамою“! ¹. Помочь ему пережить жизнь снова она не можетъ: все это „пустыя мечты, праздныя, мертвыя мечты. Послѣ той жизни, какая была у нихъ, воскресенія уже не можетъ быть“ ². А страстныя чувства все еще борются въ ней; мысль о лѣтней ночи на горахъ съ нимъ вызываетъ въ ней дикое безумное настроеніе: она и хватается за ножъ, вспоминая про „эпизодъ“ т. е. про его пренебреженіе къ ея чувству, и опять видитъ въ немъ своего господина и повелителя. Только появленіе дьякониссы приводитъ ее къ самообладанію, но и тогда она не отказывается отъ любовнаго свиданія. На его замѣчаніе, что они „прошутили“ жизнь, она говоритъ: „то, что невозвратно, мы узнаемъ только тогда, когда мы проснемся мертвые... и увидимъ, что мы никогда не жили“ (т. е. всегда были мертвы). Для нея они оба, и Рубекъ, и она сама, давно уже были мертвы, когда еще были счастливы на берегу озера. Но въ чемъ же, когда была ихъ жизнь? Жизнь была тогда, когда онъ любилъ ее и боролся съ своею пламенною страстью; а она стояла передъ нимъ какъ воскресшая женщина, т. е. какъ живое воплощеніе его порыва къ свободѣ и къ красотѣ. И

¹ Тамъ же. Стр. 81. ² Стр. 81.

эта любовь, „любовь отъ міра сего, этого прекраснаго, чудеснаго, этого загадочнаго міра — эта любовь умерла въ насъ обоихъ“, говоритъ Ирена. Нѣтъ, въ немъ она горитъ и пылаетъ ярче, чѣмъ когда-либо, и ея прошлое ничуть не умаляетъ ее въ его глазахъ, — да и въ ея собственныхъ тоже. Но въ ней жизнь, стремленіе къ жизни умерло. Когда она воскресла, она стала искать Рубека, нашла и видитъ теперь, что и онъ, и вся жизнь — все мертво. Однако любовь, вспыхнувшая въ немъ, увлекаетъ и ее: прежде, чѣмъ вернуться въ могилу, говоритъ онъ, надо испытывать счастья, испытать хоть единственный разъ чашу до дна. Она согласна подняться вверхъ, къ свѣту, на гору обѣтованія, къ сіяющей славѣ и тамъ праздновать свадьбу при свѣтѣ-ли солнца или при всѣхъ силахъ тьмы. Теперь они нашли себя, свою лучшую жизнь; она преображается, она снова слѣдуетъ за своимъ господиномъ и повелителемъ, но теперь уже навсегда и не на жизнь, а на смерть— „черезъ всѣ туманы, а затѣмъ на вершину башни, сіяющей при восходящемъ солнцѣ“. Лавина въ бурномъ вихрѣ погребаетъ ихъ подъ собою. Жизнерадостная Майя, ушедшая съ помѣщикомъ Ульфгеймомъ съ опасной высоты, ликуетъ и поетъ о своемъ освобожденіи; дьяконисса ищетъ Ирену и, видя ее съ Рубекомъ, увлекаемую лавиною, произноситъ только: *Rex Vobiscum!* (Миръ Вамъ!) На этомъ туманномъ, загадочномъ заключеніи кончается драма. Попытаемся понять это заключеніе, не разгадывая символовъ, а оставаясь на почвѣ той конкретной драмы че-

ловѣческой души, которая изображена поэтомъ. Но прежде нѣсколько словъ объ Ульфгеймѣ.

Это—богатый помѣщикъ съ грубоватыми, рѣзкими манерами, здоровый, сильный и веселый. Любимое его занятіе—охота,—и охота на всякаго звѣря, будь-то женщина или дѣйствительно дикое животное, лишь бы только звѣрь былъ силенъ, свѣжъ и богатъ кровью. Надъ этимъ звѣремъ онъ точно такъ же проявляетъ свою власть, какъ проявляетъ ее Рубекъ надъ тѣмъ неодушевленнымъ матеріаломъ, которому онъ даетъ жизнь своимъ творчествомъ¹. Только Ульфгеймъ ведетъ борьбу со звѣремъ, чтобы удовлетворить свой темпераментъ и дать исходъ своему избытку физической энергіи. А Рубекъ борется съ матеріею, чтобы вложить въ нее „идею“, т. е. силу фантазіи, творческой мечты и богатство внутренняго міра. Въ своемъ юношескомъ идеализмѣ и въ пессимизмѣ зрѣлой мысли, Рубекъ презиралъ все матеріальное, все принижающее въ человѣкѣ его идеальные порывы, и былъ глубоко несчастливъ и въ жизни и въ творествѣ, когда позналъ всю зависимость человѣка отъ матеріи, отъ „звѣря“. А Ульфгеймъ легко мирится съ этою зависимостью; онъ даже не замѣчаетъ ее и не чувствуетъ, насколько она можетъ быть унижительною для человѣка; потому что по складу самой природы своей онъ — истый матеріалистъ. Даже наружностью онъ напоминаетъ Фавна, какъ человѣкъ, въ которомъ преобладаютъ непосредственные, грубо-чувственные ин-

¹ Тамъ же. Стр. 26.

стинкты. Власть „звѣря“ въ немъ способна сдерживаться сердечнымъ чувствомъ, но и у него жизненный опытъ только усилилъ эту власть: — женщина, которую онъ любилъ, которую на рукахъ вынесъ изъ грязи и готовъ былъ всю жизнь носить на рукахъ, обманула его чувство... Познакомившись съ Майей, онъ смотритъ на нее, какъ на свою добычу, а на это знакомство, какъ на веселое спортсменское приключеніе; — но, присмотрѣвшись къ ней и узнавъ, что и она обманута, какъ онъ, въ своихъ сердечныхъ чувствахъ, — онъ дружески предлагаетъ ей соединить ихъ двѣ разбитыхъ жизни и сдѣлать это существованіе, — спитое изъ разодранныхъ лоскутовъ, — похожимъ на настоящую человѣческую жизнь. Она соглашается. Оба они, и Ульфгеймъ и Майя — люди дюжинные, обыкновенные, люди толпы, которыми Ибсенъ дополняетъ характеристику своихъ героевъ, людей, выдающихся надъ общимъ уровнемъ жизни. Люди толпы больше живутъ внѣшними интересами, чѣмъ внутренними своими чувствами. Но и они — натуры гордыя и независимыя. Они тоже обмануты жизнью: Ульфгейму измѣнила любимая жена, а Майѣ мужъ не далъ обѣщаннаго счастья, лишилъ ее свободы и радости; — онъ, по ея мнѣнію, заперъ ее въ клѣтку¹ и окружилъ не живыми людьми, а мертвыми ихъ подобіями. Но они не гибнутъ отъ разбитыхъ надеждъ, потому что они не вложили въ нихъ всѣхъ силъ души: Майя не способна къ той исклю-

¹ Тамъ же. Стр. 92.

чительной, всепоглощающей страсти, какая загубила Ирену; легко утѣшился и Ульфгеймъ: онъ бодро и весело беретъ отъ жизни ея матеріальныя блага, не задумываясь надъ ихъ значеніемъ и не внося въ жизнь тѣхъ запросовъ ума и фантазіи, какіе мучаютъ высоко-настроеннаго художника. Люди толпы не знаютъ высшихъ духовныхъ радостей, полноты жизни высоко приподнятой надъ личными, преходящими условіями дѣйствительности. Они живутъ настоящимъ и въ настоящемъ, а не въ будущемъ, реальными благами, а не идеальными. Хотя они и вносятъ въ повседневное существованіе потребность свободы, самоуваженія личности, чувство человѣческаго достоинства, но они не знаютъ гордыхъ стремленій духа, широкихъ горизонтовъ мысли и высшихъ ея задачъ. вмѣстѣ съ тѣмъ они не знаютъ и той глубины паденія, на какой могутъ оказаться люди болѣе тонкой организаціи, богаче и ярче ихъ и въ жизни, и въ смерти одаренные природой.

Глубина нравственнаго паденія, это — духовная смерть. И Рубекъ, и Ирена — мертвые, нравственно погибшіе люди. Они умерли, потому что не нашли въ жизни настоящаго примѣненія своимъ силамъ и не получили удовлетворенія своимъ гордымъ высокимъ стремленіямъ. Жизнь ихъ обманула, какъ обманула она и Бранда, и Пеера Гинта, и Императора Юліана, и Сольнеса, и Эдду Габлеръ... И они какъ всѣ почти герои Ибсена, невѣрно поняли, смыслъ и назначеніе своего существованія и только „невозвратимое“ т. е. неизгладимый опытъ перенесенныхъ страданій, показалъ имъ всю неправиль-

ность пройденнаго ими пути. Въ мертвенномъ состояніи они встрѣтились и ожили, воскресли въ надеждѣ найти теперь ту полноту жизни, которая раньше, въ ихъ первую встрѣчу, составляла все ихъ счастье. Но начать жизнь сначала они уже не могутъ: они воскресли для того, чтобы понять, что и раньше оба они не жили настоящею полною жизнью. Она, — потому что отказалась отъ себя, отъ своей личности, отъ настоящаго своего призванія и стала рабой своего чувства; а это рабское подчиненіе кумиру не могло дать ей той семьи, въ которой и заключалось ея настоящее назначеніе. Рубекъ, — хотя и любилъ ее, но любилъ тою „эпизодическою“ любовью, на которой не зиждется семья. Любить иначе онъ и не могъ, потому что по природѣ это — себялюбецъ и свое созданіе изъ глины или камня, свою гордость художника онъ цѣнитъ дороже сердечнаго чувства. Это-же себялюбіе, отсутствіе непосредственной любви къ человѣку, не можетъ въ немъ примирить и тѣхъ крайнихъ взглядовъ, которые смѣняются въ его мысли. Сначала онъ — идеалистъ; и тогда гордость возвышенныхъ, отвлеченныхъ идеаловъ ослѣпляетъ его, не даетъ видѣть той юной, живой души, которую женская любовь кладетъ къ ногамъ его. Онъ растопталъ, загубилъ эту душу, потому что въ красотѣ и силѣ ея любви онъ видѣлъ только воплощеніе своихъ идеаловъ, орудіе необходимое для своего творчества. Впослѣдствіи, ближе узнавъ жизнь и людей, онъ отрѣшился отъ своего идеализма; но тутъ, безъ Бога живого въ душѣ, безъ вѣры и безъ идеала,

онъ выработалъ себѣ взглядъ на человѣка, какъ на звѣря и впалъ въ тоску пессимизма, въ бездѣйствіе и безсиліе. Встрѣча съ Иреною возвращаетъ ему и вѣру въ человѣка, и вѣру въ искусство: съ нею снова возвращаются къ нему „и божество, и вдохновеніе“. Въ ней онъ находитъ теперь примиреніе своихъ прежнихъ взглядовъ съ новыми, потому что въ силѣ ея чувства есть то, чего недостаетъ его собственной природѣ. Въ ней есть теперь и сила нравственного сознанія, выстраданная ею въ мірѣ зла, порочности и — душевной болѣзни; осталась вмѣстѣ съ тѣмъ и любовь, — любовь и къ нему, и къ тому искусству, въ которомъ она служила ему красотою своею и находила свои материнскія радости. Эта-то любовь, земная любовь, — прекрасная и загадочная, какъ сама жизнь земная, — миритъ собою гордость идеальнаго порыва съ низменностью животнаго существа въ человѣкѣ. Любовь, какъ сильная глубокая страсть, которой раньше не знали Рубекъ, любовь къ такой женщинѣ, которая, какъ Ирена, дополняетъ его и даетъ цѣльность его личности, любовь загорается теперь въ Рубекѣ, сообщается и Иренѣ; — но любовь эта можетъ только примирить ихъ со смертію. Для жизни земной, для живой, реальной дѣйствительности они воскреснуть уже не могутъ. Они воскресли теперь, чтобы найти истину; нашли ее въ себѣ и ушли изъ жизни свободные и гордые, не боясь ни силы свѣта, ни силы тьмы. Въ предсмертную минуту они обрѣли тотъ миръ души, котораго не знали Рубекъ, стремясь къ высокімъ идеаламъ и мучась злыми низмен-

ными инстинктами; миръ, котораго не знала и Ирена, терзаясь любовью къ Рубеку—человѣку и мстительной ненавистью къ Рубеку—художнику. Съ высоты горныхъ вершинъ они видятъ землю обѣтованную, но должны пройти чрезъ туманы—сомнѣнія, отчаянія, раскаянія;—а для Ирены за этими туманами снова сіяетъ восходящее солнце, то солнце, которое однажды уже озарило ея разсвѣтъ, когда Рубекъ съ высокой горы показалъ ей всю славу міра и сталъ ея „господиномъ и повелителемъ“. Ихъ любви, погребаемой подъ лавиной, дается отпущеніе дьякониссой, свидѣтельницей безумія и страданій героини. Ея *Pax Vobiscum* звучитъ какъ въ Брандѣ заключительное *Deus Caritatis*. Брандъ погибаетъ оттого, что милосердія и снисхожденія къ людямъ не знала суровость его идеализма: мира душевнаго, любви и всепрощенія не знали и Рубекъ съ Иреною, когда любили другъ друга; потому они и обрѣли этотъ миръ только въ смерти, когда поняли свое заблужденіе и нашли истину. Истина эта—въ любви земной, настоящей: въ уваженіи къ сердечному чувству женщины со стороны мужчины; а со стороны женщины—сознаніе своей свободной личности и своего назначенія, болѣе широкаго, чѣмъ исключительное подчиненіе любовнымъ чувствамъ. Любовь земная, „любовь, которая отъ міра сего, по выраженію Ирены, этого прекраснаго, чудеснаго, этого загадочнаго міра“ воскрешаетъ нравственно-погибшихъ людей, открываетъ имъ истину, создаетъ имъ новую, лучшую жизнь,—хотя-бы на краткія, предсмертныя минуты.

Этою идеализаціе личнаго чувства заканчивается драматическій эпилогъ. Если это чувство,— какъ полное единеніе двухъ душъ, которыя, взаимно дополняя другъ друга, производятъ новую жизнь и продолжаютъ существованіе человѣка на землѣ,—если любовь является наиболѣе яркимъ и сильнымъ проявленіемъ личности человѣка, то идеализація любви есть такимъ образомъ и идеализація личности и прославленіе жизни человѣческой, всей жизни, во всей ея привлекательности и необъяснимости.

Признаніе красоты и необъяснимости жизни — вотъ что лежитъ въ основѣ художественнаго замысла Ибсеновской драмы Воскресенія. Такое заключеніе, облеченное притомъ же въ туманный символизмъ (съ широкимъ просторомъ для фантазіи и остроумія комментаторовъ), не даетъ того положительнаго идеала, который, какъ готовая формула, или какъ назидательное поученіе, входитъ въ сознаніе читателя. Ибсенъ — моралистъ изображаетъ намъ нравственныя коллизіи въ душѣ своихъ героевъ; но онъ — не „учитель жизни“; онъ, какъ поэтъ, созерцатель и наблюдатель, только констатируетъ неразрѣшимость этихъ коллизій и волнуетъ насъ ихъ красотою и загадочностью. Разрѣшили бы дѣйствительно та душевная драма, которую переживаютъ Рубекъ съ Иреною? Рубекъ нравственно мертвый человѣкъ; онъ мертвъ въ силу исключительныхъ и прирожденныхъ особенностей своей натуры. Ирена погибаетъ въ силу тоже прирожденныхъ свойствъ женской чувствительности. Истина,

которую оба купили цѣною своей гибели, истина, воскресившая ихъ, давшая имъ въ предсмертную минуту свободу и радость жизни, могла-ли она измѣнить ихъ природныя свойства, направить ихъ жизнь иначе? Нѣтъ. Причина ихъ нравственной смерти лежала въ роковыхъ, неизгладимыхъ чертахъ натуры, темперамента, характера. Такъ оно изображено у Ибсена. А если такъ, то значить мертвые не воскресаютъ, и жизнь живая не подчиняется той истинѣ, для которой такъ поздно прозрѣваютъ и оживаютъ мертвые; не подчиняется, слѣдовательно и не можетъ измѣниться, не можетъ дать той радости, надежда на которую живить нашъ духъ. Гдѣ же тотъ выходъ изъ трагическаго конфликта между мертвой душой художника и живымъ чувствомъ любящей, загубленной имъ женщины? Гдѣ та земля обѣтованная, которую эти несчастные думаютъ увидать съ высоты оживившей ихъ страсти? Съ такимъ вопросомъ, съ такими сомнѣніями передъ тайной души человѣческой и передъ загадочностью земной жизни, мы и расстаемся съ героями послѣдней драмы Ибсена. Не меньше сомнѣній вызываетъ заключеніе и романа гр. Толстого, хотя для самого русскаго писателя, какъ учителя жизни, нѣтъ загадокъ, нѣтъ сомнѣній: для него всѣ вопросы разрѣшены его глубокою вѣрою.

VI

ПОДВИГЪ КАТЮШИ.

Если героямъ Ибсена самою коллизіею природныхъ, роковыхъ свойствъ предопредѣлена ихъ нравственная смерть, то героямъ гр. Толстого — по волѣ ихъ творца — назначено совершенно обратное. Тѣ воскресаютъ, чтобы умереть; эти воскресаютъ для настоящей, живой жизни. Замѣчательно при этомъ, что оба автора лучшую роль въ драматическомъ конфликтѣ отдаютъ женщинамъ. У Ибсена, мы видѣли, женщинѣ принадлежитъ даже инициатива нравственнаго перерожденія: Ирена первая оживаетъ послѣ душевнаго своего недуга, сознаетъ причину своей гибели, сознаетъ свою вину передъ самою собою и отправляется на поиски дѣтища, въ которомъ живетъ лучшая часть ея души. Она сама переживаетъ при мысли объ этомъ дѣтищѣ лучшія чувства молодости, вызываетъ ихъ и въ Рубекъ; — этимъ и воскрешаетъ его. Женщина тутъ не только чувствомъ сильнѣе, живѣе мужчины, она и духомъ — волею выше его.

У гр. Толстого мужчина первый приходитъ къ сознанию своей гибели: онъ собственной, мучительной работою надъ собою возвращается къ идеаламъ молодости; возбуждаетъ такую же работу въ душѣ загубленной имъ женщины и этими усилями не только спасаетъ ее, но создаетъ и себѣ тотъ новый міръ чувствъ и вѣрованій, который совершенно измѣняетъ всю его жизнь и внутреннюю и внѣшнюю. Если тутъ инициатива нравственнаго перерожденія исходитъ отъ мужчины, то женщиною достигается за то высшая степень нравственнаго совершенствованія: Катюша въ заключеніи романа проявляетъ по отношенію къ Нехлюдову великодушіе самоотверженности, которое не ниже того, что онъ для нея сдѣлалъ. Нехлюдовъ, силою природной доброты своей, нашелъ доступъ къ ея заглушенной чувствительности. Но эта чувствительность, т. е. способность къ добрымъ, нѣжнымъ, безкорыстнымъ чувствамъ,— у ней прирожденная. Способность эта глухнетъ въ мірѣ зла и порока: хорошія чувства заглушаются несправедливостію и жестокостію жизни, но они существуютъ въ озлобленной душѣ и только ждутъ благоприятной среды, чтобы восторжествовать надъ злобою и эгоизмомъ. Эти прирожденные, но скрытые чувства авторъ заставляетъ насъ предугадывать въ Катюшѣ съ перваго ея появленія арестанткой въ острогъ и на скамьѣ подсудимыхъ. Въ описаніи внѣшности ея сквозитъ уже симпатія къ ней автора; онъ упоминаетъ про „черные, блестящіе, оживленные глаза“ ея ¹; на дорогѣ изъ

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 6.

острога ее веселить весенній воздухъ, радуется обращаемое на нее прохожими вниманіе, забавляетъ голубь, котораго она задѣла; всѣ эти мелкіе признаки живой воспріимчивой природы располагають въ ея пользу читателя. Потомъ, когда Нехлюдовъ узналъ ее, („Да это была она...“) гр. Толстой очень рѣшительно отгѣняетъ ту миловидность и привлекательность ея наружности, въ которыхъ сквозь загрубѣлость и порочность проступають добрые отъ природы инстинкты. Особенность лица, по которой Нехлюдовъ призналъ Катюшу, была милая особенность: особенность была, говорить авторъ, „въ этомъ лицѣ, въ губахъ, въ немного косившихъ глазахъ, и, главное, въ этомъ наивномъ, улыбающемся взглядѣ и въ выраженіи готовности не только въ лицѣ, но и во всей фигурѣ“¹. Въстѣ съ этимъ выраженіемъ и все ея поведеніе на судѣ, такъ же, какъ краткая біографія ея, говорятъ о мягкой податливой природѣ, слѣдовательно, хорошей природѣ, но испорченной и воспитаніемъ и эгоистическимъ отношеніемъ къ ней мужчинъ. Ея личной виною, причиною ея окончательной гибели, является только лѣнь и тщеславіе, — любовь къ легкой жизни безъ труда, и слабость къ нарядамъ. „И когда Маслова вообразила себя въ яркожелтомъ шелковомъ платьѣ, съ черной бархатной отдѣлкой, декольте, она не могла устоять“². Впрочемъ поддаваясь соблазну, она знала, что поступаетъ дурно:—она думала этимъ зломъ отплатить всѣмъ

¹ Тамъ же. Стр. 49. ² Стр. 16.

всѣмъ тѣмъ мужчинамъ, съ которыми сходилась послѣ Нехлюдова, за то зло и страданія, которыя они ей причиняли.

Не такое ли мстительное озлобленіе кинуло и героиню Ибсена Ирену на подмостки Variété и заставило ее отравлять жизнь любившихъ ее мужчинъ, платя имъ ненавистью за чувство непонятое и нераздѣленное Рубекомъ? Героиня гр. Толстого проща, наивнѣе, бессознательнѣе Ирены, а главное, по природѣ она добрѣе и мягче; оттого и озлобленіе ея принимаетъ такія формы, какія дѣйствуютъ пагубнѣе на нее, чѣмъ на ея жертвъ. Катюша сама жертва, правда, жертва не вполнѣ невинная, но зато и вина ея очень незначительна: вѣдь ея немѣнѣе трудиться и любовь къ нарядамъ—слабости, присуція ея полу; онѣ многими считаются даже за преимущество, какъ признакъ настоящей женственности.

Удаленная отъ того порока и разврата, гдѣ заглохла ея совѣсть и умерли лучшія ея чувства, Катюша воскрешаетъ въ себѣ эти чувства подъ вліяніемъ самоотверженности Нехлюдова, подъ вліяніемъ и собственныхъ воспоминаній о любви къ нему. Уѣзжая въ Сибирь, она проявляетъ по отношенію къ нему то простое, сдержанно-радостное чувство, которое указываетъ на глубокую перемену, происходящую въ ней. Но по дорогѣ, очутившись подъ вліяніемъ тяжелыхъ и развращающихъ условій переѣзда, она кажется ему опять скрытною и недоброю, враждебно къ нему настроенною, она снова раздражается противъ него отъ раз-

лада сама съ собой. И только новая среда, куда она попадаетъ благодаря Нехлюдову, общеніе съ политическими ссыльными, открываетъ ей новые интересы въ жизни; а симпатіи, которыя она тамъ встрѣчаетъ, довершаютъ развитіе ея природныхъ добрыхъ инстинктовъ, изглаживаютъ въ ней слѣды порока и создаютъ ей новую, лучшую жизнь. Товарищеское общеніе съ людьми, самоотверженно-преданными высшимъ духовнымъ интересамъ, имѣетъ общее благотворное вліяніе; а вліяніе двухъ лицъ этого круга особенно содѣйствуетъ ея возрожденію. Это — вліяніе женской дружбы и мужской любви, у двухъ натуръ исключительныхъ и для образованной среды, а не только для той, гдѣ вращалось до сихъ поръ Катюша. „Красивая дѣвушка съ бараньими глазами“, Марья Павловна, привлекаетъ къ себѣ всѣхъ полнымъ отсутствіемъ эгоизма: она „никогда не думала о себѣ, а всегда была озабочена только тѣмъ, какъ бы услужить, помочь кому-нибудь въ большомъ или маломъ“ ¹. Катюша не только восхищалась ею, „но полюбила ее особенною почтительною и восторженной любовью“ ². Также особенно удивляло и потому прельщало въ ней Катюшу полное отсутствіе кокетства; а окончательно привязала ее та доброта Марьи Павловны, которая заставила ее побѣдить свое отвращеніе и гадливость къ Катюшѣ. „Катюша всей душой отдалась ей, безсознательно усваивая ея взгляды и невольно во всемъ подра-

¹ Тамъ же. Стр. 499. ² Стр. 497.

жая ей“ ¹. Другое вліяніе было Симонсона, который полюбилъ Катюшу.

Симонсонъ — характерная фигура, съ особенною симпатіею нарисованная романистомъ. Онъ надѣляетъ его двумя самыми цѣнными качествами чело-вѣческой природы: независимостью *ума*, ничего не принимающаго на вѣру, но ищущаго, путемъ самостоятельнаго мышленія, своихъ отвѣтовъ на возникающіе въ немъ вопросы, — и чуткостью совѣсти, зависящей отъ нѣжнаго, добраго *сердца*. Мало того, Симонсонъ надѣленъ еще и силою воли, которая позволяетъ ему, не колеблясь и ни передъ чѣмъ не останавливаясь, проводить въ дѣятельную жизнь тѣ мысли и взгляды, которые выработаны его умомъ. Эти свойства природы намѣченны уже въ описаніи самой наружности: ² это — мрачнаго вида чело-вѣкъ; его нависшій лобъ, нахмуренныя брови, торчащія волосы, взглядъ невинныхъ, добрыхъ, темно-синихъ глазъ даютъ невольно поражающее соединеніе суровости т. е., послѣдовательности прямолинейности ума, съ дѣтской простотою и нѣжностью сердца. Симонсона авторъ хочетъ изобразить натурою такою же привлекательною, какъ Катюша, но очерчиваетъ онъ его еще болѣе бѣглыми чертами, чѣмъ ее. Самое мѣсто, отведенное его характеристикѣ — крайне незначительно, всего двѣ страницы; иное вводное эпизодическое лицо этого романа, — напр., Селенинъ, тотъ товарищъ, единомышленникъ во многихъ отношеніяхъ Нехлюдова,

¹ Тамъ же. Стр. 499. ² Стр. 502—503.

который претерпѣваетъ, состоя на службѣ въ Петербургѣ, постоянный разладъ совѣсти и поступковъ,—обрисованъ подробнѣе, чѣмъ Симонсонъ. А, между тѣмъ замѣтно, что авторъ въ немъ какъ будто намѣчаетъ тотъ положительный типъ, которымъ онъ намѣренъ отгнать отрицательныя стороны другихъ дѣйствующихъ лицъ. Такъ цѣльность нравственной личности Симонсона, отсутствіе у него разлада между словомъ и дѣломъ, между мыслями, чувствами и поступками, цѣльность эта выгодно отгнываетъ тѣ колебанія и противорѣчія, которыми мучится Нехлюдовъ на протяженіи всего романа. Впрочемъ, этотъ характеръ такъ мало показанъ въ дѣйствіи, участникомъ настоящей дѣйствительной жизни, что трудно о Симонсонѣ судить, какъ о живомъ лицѣ, какъ мы судимъ напр., о Нехлюдовѣ; трудно предвидѣть, какъ сложится съ нимъ жизнь Катюши, какъ напр., онъ любя ее, проведетъ въ жизнь всѣ свои теоріи. А между тѣмъ его-то любовь и то вліяніе, которое онъ, благодаря этой любви, пріобрѣтаетъ надъ Катюшей и довершаетъ воскресеніе ея, начатое Нехлюдовымъ.

Самъ Нехлюдовъ не могъ бы закончить это воскресеніе, т. е. упрочить счастье ея новой жизни и ея духовное совершенствованіе; не могъ бы въ силу уже тѣхъ самыхъ свойствъ природы, которыми начато было это воскрешеніе. Его способность къ самопожертвованію во имя нравственныхъ требованій, способность и къ восторженному подъему духа, указываетъ въ Нехлюдовѣ на богато-одаренную натуру

съ широкимъ захватомъ чувства и мысли. Только человѣкъ выдающійся, обладающій необычайной чуткостью совѣсти, могъ такъ горячо прочувствовать свой грѣхъ передъ дѣвушкой, попавшей на скамью подсудимыхъ; и только человѣкъ недюжиннаго ума могъ такъ перевернуть всю свою внутреннюю жизнь, какъ дѣлаетъ это Нехлюдовъ. Эти силы ума и сердца заставили его работать надъ духовнымъ пробужденіемъ мертвой женщины; но онѣ же составляютъ и ту естественную непреодолимую преграду между ними, которая и помогаетъ Катюшѣ развязать ихъ отношенія. Самопожертвованіе Нехлюдова завязало эти отношенія, а самопожертвованіе Катюши ихъ развязываетъ: самопожертвованіе Нехлюдова — эта рѣшимость аристократа жениться на проституткѣ, приговоренной къ каторгѣ, — будить лучшія стороны души въ этой женщинѣ. Въ ней возрождаются прежнія чувства къ тому, кто давалъ ей въ юности волшебное счастье, полноту жизни. Только теперь она яснѣе сознаетъ и свое, и его чувство и не можетъ не видѣть, что счастья эти чувства не могутъ имъ дать. Она не можетъ не видѣть его огромнаго умственного превосходства надъ собою, мало развитою простолюдинкою, приниженной еще къ тому же годами порока и разврата. Оттого бракъ съ Нехлюдовымъ, который при такомъ неравенствѣ долженъ бы былъ составить его несчастье, представляется ей только удовлетвореніемъ ея эгоизма, новымъ паденіемъ. Тонко чувствующая, и „по природѣ одна изъ самыхъ нравственныхъ натуръ“, какъ ее

опредѣляетъ авторъ словами Маріи Павловны ¹, она, любя Нехлюдова, счастлива уже тѣмъ, что можетъ сдѣлать ему отрицательное добро, не связать, не запутать его собою. Слѣдуя только здравому смыслу, Катюша силою непосредственнаго чувства любви и благодарности, совершаетъ подвигъ самопожертвованія и возвращаетъ Нехлюдову свободу. Правда, авторъ вознаграждаетъ ее за это возможностью новаго счастья съ человѣкомъ, который ее любитъ какъ равную, — а не сверху внизъ, изъ жалости и состраданія, какъ любить ее Нехлюдовъ, — и которому она можетъ дать счастье, невозможное для нея съ Нехлюдовымъ. Симонсонъ узналъ и полюбилъ ее тогда, когда въ ней стали проявляться лучшіе инстинкты ея природы; и эта любовь возвышала ее въ собственныхъ глазахъ больше, чѣмъ забота о ней Нехлюдова и чѣмъ та жертва, которую онъ приносилъ женитьбою на ней: „... сознаніе того, что она могла возбудить любовь въ такомъ необыкновенномъ человѣкѣ, подняло ее въ ея собственномъ мнѣніи. Нехлюдовъ предлагалъ ей бракъ по великодушію и по тому, что было прежде, но Симонсонъ любилъ ее такую, какою она была теперь, и *любилъ просто за то, что любила*.“ ² „Кромѣ того, она чувствовала, что Симонзонъ считаетъ ее женщиной необыкновенной, и приписываетъ ей высокія нравственныя качества а это и заставляетъ ее стараться быть хорошей, и всѣми силами вызывать въ себѣ самыя лучшія свойства.

¹ Тамъ же. Стр. 543. ² Стр. 502.

Подъ вліяніемъ такой любви она даже могла совсѣмъ изгладить изъ памяти свое прошлое и начать новое существованіе — счастливое, хотя и совсѣмъ не похожее на то, какое раньше улыбнулось ей, когда Нехлюдовъ юношей открылъ ей новый міръ чувствъ и мыслей. Любовь Симонсона одухотворена идеальными стремленіями.... „Мнѣ кажется, говоритъ гр. Толстой устами Маріи Павловны про Симонсона ¹, что съ его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное. Онъ говоритъ, что эта любовь возвышаетъ въ немъ энергію и что эта любовь — платоническая. Но я-то знаю, что если это — исключительная любовь, то въ основѣ ея лежитъ непремѣнно все-таки гадость“... Такое-то чувство, или, говоря словами Ибсена, „прекрасная, загадочная, земная любовь“ и довершаетъ дѣло воскресенія Катюши.

Такимъ образомъ, пробужденіе души отъ духовной смерти къ полнотѣ человѣческой жизни началось благодаря высокому подъему духа, благодаря восторженному самосознанію и раскаянію Нехлюдова; поддерживается оно благодаря его же усиленной борьбѣ съ самимъ собою, — той борьбѣ жалости и человѣколюбія съ высокомеріемъ и самолюбіемъ, которую онъ ведетъ внутри собственнаго сердца, и въ которой торжествуютъ лучшія его свойства, благотворно воздѣйствующія и на женскую душу. Но затѣмъ судьба духовно имъ пробужденной женщины отдѣляется отъ его судьбы:

¹ Тамъ же. Стр. 544.

она встрѣчаетъ въ мужчинѣ непосредственную, простую любовь, которая вызываетъ и усиливаетъ въ ней желаніе развитія и совершенствованія и тѣмъ окончательно возвращаетъ ее къ жизни. Слѣдовательно, и у гр. Толстого земная любовь—та исключительная привязанность мужчины, въ основѣ которой „непремѣнно таки есть гадость“, та любовь, не эпизодическая, какъ у юноши Нехлюдова и у художника Рубека, а глубокая и серьезная, на которой зиждется семья, — „любовь прекрасная и загадочная“ является послѣднимъ словомъ воскресенія души, — спасительнымъ началомъ жизни, — для женщины. Такимъ образомъ, въ широкомъ обобщеніи женской жизни оба писателя, и гр. Толстой и Ибсенъ, приходятъ къ одинаковому заключенію. А между тѣмъ, какъ несхожи ихъ точки зрѣнія! Какъ несхожи между собой ихъ героини, и насколько иначе, чѣмъ драма Ирены, заканчивается драма Катюши! Движимая инстинктомъ материнства, — идеальнаго, — но все-таки материнства, — Ирена возвращается къ первой и единственной, настоящей своей любви, къ своему господину и повелителю; она прозрѣваетъ отъ ослѣпленія злобою и развратомъ, видитъ свое спасеніе въ любви, но спасеніе это находитъ не въ дѣйствительной жизни, а въ смерти съ любимымъ человѣкомъ. И Катюша возвращается къ первой своей, высокой и чистой любви; но во имя этой любви она самоотверженно отказывается отъ личнаго счастья и въ этой жертвѣ находитъ лучшую жизнь, — для жизни дѣйствительной, а не для смерти. Умомъ, волею, силою

разумнаго сознанія Ирена выше Катюши: она вернулась сама, вернула и любимаго человѣка къ высшимъ идеаламъ жизни; но непосредственною силою добра она ниже. Она меньше, чѣмъ Катюша, была обижена любимымъ человѣкомъ, но озлобилась больше ея и сильнѣе ея мстила всѣмъ мужчинамъ за эту обиду. Катюша слабѣе ея, но великодушнѣе; она не только можетъ простить, чего не могла Ирена, но она подвигомъ можетъ искупить свою вину. „Я не за это, такъ за другое того стою“, говоритъ она, собираясь на каторгу; слѣдовательно, уже послѣ двухъ свиданій съ Нехлюдовымъ, она настолько прозрѣваетъ отъ ослѣпленія порокомъ, что жизнь, которую она вела и которую не она одна считала прежде важною и нужною для общества, находитъ теперь достойною каторги. А какъ просто, не многословно выражается ея готовность пожертвовать своимъ чувствомъ. „Гдѣ Владиміръ Ивановичъ будетъ, туда и я съ нимъ“, — „коли онъ хочетъ, чтобы я при немъ была. Мнѣ чего же лучше. Я это за счастье должна считать“. „Если вы любите его... сказалъ онъ (Нехлюдовъ). Что любить, не любить? Я ужъ это оставила“, „Нѣтъ, вы меня, Дмитрій Ивановичъ, простите, если я не то дѣлаю, что вы хотите, сказала она, глядя ему въ глаза своимъ косымъ, таинственнымъ взглядомъ. Да видно ужъ такъ выходитъ. И вамъ жить надо“. — „Что же вамъ тутъ жить и мучиться. Довольно вы помучились, сказала она и улыбнулась“... „Какая вы хорошая женщина, сказалъ онъ. Я-то хорошая? сказала она сквозь слезы и жалостная улыбка

освѣтила ея лицо“¹. Странный, косой взглядъ и жалостная улыбка выражали сложное чувство: она любила Нехлюдова и боялась испортить его жизнь; потому, уходя съ Симонсономъ, освобождала его и теперь радовалась этому, но вмѣстѣ и страдала, разставаясь съ нимъ².

Какъ непохожа эта развязка на финалъ душевной драмы у Ибсена! Тамъ порывъ земной любви соединяетъ двѣ души, разъединенныя роковымъ складомъ самой ихъ природы, и уноситъ ихъ за предѣлы земного существованія; они нашли полноту жизни въ жизни; новая заря, яркое солнце правды и разума, восходить не для нихъ: они только видятъ его сквозь туманы сомнѣній и отчаянія; но жить и дѣйствовать при этомъ свѣтѣ они не могутъ: земная жизнь не мирится у Ибсена съ тѣмъ идеаломъ, который созданъ порывомъ высоко-настроенныхъ душъ! Совсѣмъ иное у героевъ гр. Толстого: для нихъ полнота жизни, Царство Божіе должно быть доступно на землѣ! Нехлюдовъ, освободившись отъ своего обязательства передъ Катюшей, всецѣло отдается теперь вопросамъ общечеловѣческой жизни и въ минуту новаго подъема духа находитъ тотъ высшій идеалъ, который разрѣшаетъ всѣ его сомнѣнія и долженъ быть имъ проведенъ въ дѣйствительную жизнь. Идеалъ, то солнце правды и разума, которое теперь открылось ему, — идеалъ долженъ служить для жизни, а не освѣщать только въ предсмертную минуту, какъ у

¹ Тамъ же. Стр. 572. ² Стр. 574.

Ибсена, заблужденія прошлаго и чаянія будущаго. А тотъ подъемъ духа, который помогъ ему найти этотъ идеаль въ Евангельскомъ текстѣ, опять вызванъ въ немъ личнымъ сердечнымъ опытомъ: сложностью его отношеній къ Катюшѣ и чувствами, возбуждаемыми въ немъ тюремнымъ міромъ съ его страданіями и жестокостью, — этимъ отраженіемъ зла и насилія, господствующаго въ жизни.

ВОСКРЕСЕНИЕ НЕХЛЮДОВА.

Сложность чувствъ Нехлюдова къ Катюшѣ въ Сибири, послѣ того, какъ онъ порвалъ со всѣмъ своимъ прошлымъ, авторъ выясняетъ намъ очень тщательно, потому что съ этими чувствами тѣсно связаны и стремленія его къ новому идеалу жизни. „Онъ испытывалъ къ ней чувство, никогда не испытанное имъ прежде“¹, такъ начинается гр. Толстой характеристику этой любви, но вскорѣ поправляется: оказывается, что такое чувство Нехлюдовъ испытывалъ и раньше, но только тогда оно было временное, а теперь стало постояннымъ². „Чувство это не имѣло ничего общаго ни съ первымъ поэтическимъ увлеченіемъ, ни, еще менѣе, съ тѣмъ чувственнымъ влюбленіемъ, которое онъ испыталъ потомъ...“³ и которое привело его къ преступленію. Послѣ встрѣчи въ судѣ въ его отношеніи къ ней было чувство удовлетворенной совѣсти,

¹ Стереотипное изданіе А. Ф. Маркса, стр. 504.

² Стр. 505. ³ Стр. 504.

„исполненнаго долга, соединеннаго съ самолюбованіемъ“: это когда онъ рѣшилъ жениться на ней. А теперь новое чувство было „простое чувство жалости и умиленія“. Его въ первый разъ онъ испыталь, когда по возвращеніи изъ Петербурга озлобился на нее, но поборолъ свое отвращеніе, видя ее страдающею, жалкою, слабою, — вспоминая вмѣстѣ съ тѣмъ и свою собственную слабость передъ соблазнами прежней жизни; и это чувство умиленія, вытекающее изъ состраданія къ страждущему человѣчеству, изъ состраданія вмѣстѣ съ тѣмъ и къ самому себѣ, проникаетъ теперь все настроеніе Нехлюдова. Это новое чувство называется, такимъ образомъ, только возобновленнымъ, но за то теперь господствующимъ въ душѣ Нехлюдова. Оно „какъ бы раскрыло въ душѣ Нехлюдова потокъ любви, не находившій прежде исхода, а теперь направлявшійся на всѣхъ людей, съ которыми онъ встрѣчался. Въ возбужденіи этого чувства онъ дѣлался участливымъ и внимательнымъ ко всѣмъ, отъ ямщика и конвойныхъ солдатъ до начальника тюрьмы и губернатора“¹.

Впрочемъ, потокъ человѣколюбія, направляющійся на всѣхъ, съ кѣмъ его сталкиваетъ жизнь, не исключаетъ и того духа гордости и высокомерія, которымъ онъ надѣленъ отъ природы и который вообще какъ нельзя лучше уживается съ чувствомъ жалости и состраданія. Забота о своемъ превосходствѣ никогда не покидаетъ Нехлюдова,

¹ Тамъ же, Стр. 505.

когда онъ сходитъ съ людьми, въ какомъ бы умиленіи человѣколюбія онъ ни находился. Такъ, встрѣтившись въ Сибири впервые въ своей жизни съ ссыльными революціонерами и знакомясь съ ихъ убѣжденіями и индивидуальностями, онъ прежде всего сравниваетъ ихъ нравственное достоинство съ своимъ. Авторъ не показываетъ намъ, какъ воздѣйствуютъ на мысль Нехлюдова самыя убѣжденія революціонеровъ: — ихъ отношенія къ тому многомилліонному народу, на служеніе которому и Нехлюдовъ собирается отдать всѣ силы, авторъ касается одинъ только разъ и то довольно бѣгло и поверхностно ¹; онъ заставляетъ Нехлюдова только установить, кто изъ нихъ въ нравственномъ отношеніи выше, кто ниже его. А между тѣмъ Нехлюдова сближаетъ съ революціонерами, кромѣ его любви къ народнымъ массамъ, и отрицательное отношеніе къ существующему строю общества. Но его отталкиваетъ ихъ самомнѣніе и тѣ мѣры насилія, къ какимъ они прибѣгаютъ въ своей дѣятельности. Присмотрѣвшись ближе къ нимъ, онъ убѣждается, что эти недостатки проистекаютъ отъ ихъ положенія въ жизни, а индивидуальныя ихъ натуры внушаютъ ему разную степень симпатіи и антипатіи. И замѣчательно, что несмотря на тотъ потокъ любви, который Нехлюдовъ теперь изливаетъ на все человѣчество, онъ не можетъ не ощущать непріязненности къ людямъ, въ натурѣ которыхъ находитъ тѣ же отрицательныя сто-

¹ Тамъ же. Стр. 533 — 535.

роны, что и въ самомъ себѣ. Къ такимъ принадлежить Новодворовъ. Вѣроятно, многимъ памятна въ романѣ краткая и рѣзкая характеристика ¹ этого революціонера. Онъ былъ очень ученъ и считался очень умнымъ; но его умственные силы были несоизмѣримо ниже его мнѣнія о нихъ. Самолюбіе,—это у него общая черта съ Нехлюдовымъ; но, въ противоположность Нехлюдову, оно составляетъ единственную основу его натуры; вся его дѣятельность представляется Нехлюдову основанной на тщеславіи, на желаніи первенствовать: онъ никого не любилъ, во всѣхъ выдающихся людяхъ видѣлъ соперниковъ, а хорошо относился только къ тѣмъ, кто преклонялся передъ нимъ. Безграничная самоувѣренность его могла или отталкивать людей или подчинять ихъ ему. Людей неопытныхъ она подчиняла, и онъ имѣлъ большой успѣхъ у молодежи. Самоувѣренность эта проистекала отъ бѣдности и крайней узости его природы: если сила чувствительности его исчерпывалась самолюбіемъ, страстью къ первенствованію, то сила умственная ограничивалась способностью усваивать чужія мысли и точно передавать ихъ. „Благодаря отсутствію въ его характерѣ свойствъ нравственныхъ и эстетическихъ, которыя вызываютъ сомнѣнія и колебанія, онъ очень скоро занялъ удовлетворявшее его самолюбіе положеніе руководителя партіи. Разъ избравъ направленіе, онъ уже никогда не сомнѣвался и не колебался и по-

¹ Тамъ же. Стр. 535—538.

тому былъ увѣренъ, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомнѣнно. И при узости и односторонности его взгляда все дѣйствительно было очень просто и ясно, и нужно было только, какъ онъ говорилъ, быть логичнымъ“¹. Такая натура съ ея мелкой логикой, подчиненной всецѣло самолюбію и тщеславію, очень выгодно отбѣиваетъ богато-одаренную натуру Нехлюдова съ его постоянной, внутренней борьбою противоположныхъ свойствъ: доброты и гордости, самолюбія и человеколюбія. Нехлюдову все въ жизни кажется сложнымъ и неяснымъ, все вызываетъ на сомнѣнія, потому что такъ-же, какъ и Симонсонъ, онъ все рѣшаетъ собственнымъ умомъ и собственнымъ чувствомъ, а не готовою мѣркою чужихъ теорій. При этомъ чувство свое онъ провѣряетъ умомъ, а въ дѣло логики вносить тѣ аргументы добра и красоты, которые часто вовсе не мирятся съ требованіями разсудка. Впрочемъ, въ сравненіи съ Симонсономъ, его умственная дѣятельность, образованіе и жизненный опытъ гораздо шире, глубже и разнообразнѣе; оттого онъ и не можетъ дѣйствовать съ тою простотою и правдивостію, на какую любитъ у Симонсона,—напр. когда тотъ, слѣдуя влеченію сердца, собирается жениться на Катюшѣ. Для Нехлюдова трудно быть простымъ, потому что въ независимую мысль его привходитъ слишкомъ много соображеній разнообразнаго порядка. Ему трудно быть и непосредственно прав-

¹ Тамъ же. Стр. 536—537.

дивымъ, потому что влеченія его сердца вызы-
ваютъ слишкомъ много противорѣчій въ его умствен-
ной и эстетической организаціи. Отъ этихъ проти-
ворѣчій возникаютъ сомнѣнія и колебанія, возни-
каетъ постоянная, мучительная, крайне его утомляю-
щая, борьба.

Поэтому только однимъ мучительнымъ утомле-
ніемъ заканчивается и его любовь къ Катюшѣ. Это
былъ подвигъ, взятый имъ на себя подъ вліяні-
емъ, хотя и логически сознанныхъ, вполнѣ разу-
момъ одобренныхъ, но исключительно сердечныхъ,
нравственныхъ мотивовъ. Когда къ этимъ мотивамъ
приводили эстетическія соображенія, какъ это
было въ Петербургѣ, гдѣ онъ почувствовалъ всю при-
ятность удобной, красивой обстановки жизни, тогда
на него нападало искушеніе, т. е. отвращеніе отъ
той новой жизни, которую онъ избиралъ. И онъ дол-
женъ былъ дѣлать усиліе надъ собою, призывать
всю силу новаго своего строя мысли, чтобы проти-
востоять соблазну, — и не безъ труда побѣждалъ
внутреннее противорѣчіе. Передъ окончательной
развязкой этихъ отношеній, въ то время, какъ ве-
ликодушіе Катюши проявляется такъ просто и та-
кимъ обдуманномъ, безповоротнымъ рѣшеніемъ, онъ
снова испытываетъ борьбу. Когда онъ узнаетъ это
рѣшеніе, онъ не сразу можетъ разобраться въ слож-
ности того впечатлѣнія, которое это извѣстіе про-
изводитъ на него. Въ общемъ, какъ освобожденіе
отъ обязательства, которое „въ минуты слабости
казалось ему тяжелымъ и страшнымъ“¹, слѣдова-

¹ Тамъ же стр. 544.

тельно, требовало постоянного напряженія и усилія надъ собою, — это извѣстіе было ему пріятно; но, въ то же время, оно нѣсколько обижало его: предложеніе Симонсона разрушало исключительность его поступка, уменьшало въ глазахъ его и чужихъ людей цѣну жертвы, которую онъ приносилъ; кромѣ этого было, можетъ быть, простое чувство ревности: онъ привыкъ къ ея любви и жалѣлъ, что она могла полюбить другого; было и разрушеніе разъ составленнаго плана: если при ней былъ Симонсонъ, то его присутствіе было ей не нужно и ему приходилось снова мѣнять жизнь. Такимъ образомъ, освобожденіе само по себѣ было пріятно; но отъ условій, при которыхъ оно совершалось, страдало его самолюбіе и тщеславіе. Сама Катюша сперва ничего опредѣленнаго ему не сказала, но онъ видѣлъ, какъ она страдала отъ этого разговора и понималъ, что она любитъ его. А у него къ ней не было той простой, непосредственной привязанности, въ которой разлука съ ней могла бы быть ему горестной. Потому-то, вернувшись изъ тюрьмы къ себѣ на постоянный дворъ и отдавая себѣ отчетъ въ впечатлѣніяхъ этого дня, онъ не сталъ думать объ этихъ чувствахъ. „Несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечеромъ съ Симонсономъ и Катюшей, онъ не останавливался на этомъ событіи: отношеніе его къ этому было слишкомъ сложно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неопредѣленно, и поэтому онъ отгонялъ отъ себя мысль объ этомъ“ ¹.

¹ Тамъ же. Стр. 549.

Вмѣсто заботы о Катюшѣ воображеніе его поглощалось сценами, только что видѣнными имъ въ тюрьмѣ и всегда болѣзненно воздѣйствовавшими на его чувствительность; потому и теперь вопросы, которые вызывались этими сценами, отгѣснили на второй планъ тѣ вопросы личной жизни, гдѣ преобладало самолюбіе.

Въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ онъ видѣлъ, какъ одни люди мучаютъ другихъ, подвергая ихъ всякаго рода развращенію, безчеловѣчнымъ униженіямъ и страданіямъ, и видъ этого мучительства приводилъ его въ недоумѣніе и заставлялъ его не разъ спрашивать себя: онъ ли сумасшедшій, если видитъ то, чего другіе не видятъ, или сумасшедшіе тѣ, кто производитъ и допускаетъ такое мучительство? Эти размышленія возникли у него въ Судѣ, когда онъ присяжнымъ встрѣтилъ Маслоу, возникли въ моментъ повышенной чувствительности совѣсти, заставившей его всю свою жизнь признать постыдной и развратной. Послѣдовавшія затѣмъ наблюденія надъ арестантами, надъ тюремной и надъ судейскою администраціею все больше убѣждали его въ томъ, что люди не имѣютъ права судить, слѣдовательно, и наказывать одинъ другаго. И это убѣжденіе точно такъ же вытекало изъ горячо прочувствованнаго сознанія собственной слабости и виновности, какъ вытекало изъ него и чувство жалости и состраданія ко всѣмъ несчастнымъ. Это былъ все тотъ же потокъ человѣколюбія, который онъ теперь, удаленный отъ всѣхъ привычныхъ условій жизни, ощущалъ съ

особою силою въ своемъ сердцѣ. Человѣколюбіе, приводившее его въ серьезное, умиленное настроеніе, заставляло его и глубоко страдать при видѣ жестокости и развращенности острожнаго быта. Всякій разъ, когда онъ былъ среди арестантовъ, онъ „испытывалъ мучительное чувство стыда и сознание своей виноватости передъ ними. Самое тяжелое для него было то, что къ этому чувству стыда и виноватости примѣшивалось еще непреодолимое чувство отвращенія и ужаса“ ¹. Какъ ни великъ у него запасъ великодушія и человѣколюбія, какъ ни глубока сила нравственнаго чувства, — все-таки его эстетическая природа не мирится съ страшными картинами униженія и развращенія человѣка. И вотъ, сколько онъ теперь ни убѣждалъ себя, „все-таки своего отвращенія къ арестантамъ онъ подавить не могъ“.

То же самое, до нѣкоторой степени, было и въ отношеніяхъ его съ Катюшею. Какъ ни радовала его внутренняя перемѣна, отразившаяся на ея наружности, — все-таки въ ту рѣшительную минуту, когда она должна была навсегда или связать его съ собою или освободить, — видъ этой арестантки былъ ему антипатиченъ самой внѣшностью ея. Приливъ эстетическихъ чувствъ, совпавшій съ ихъ послѣднимъ свиданіемъ, былъ въ немъ произведенъ возвращеніемъ его къ условіямъ прошлой жизни. А возвращеніе это происходитъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ онъ получаетъ извѣстіе о поми-

¹ Тамъ же. Стр. 517.

лованіи Катюши, т. е. о замѣнѣ ей каторжныхъ работъ поселеніемъ въ Сибири; извѣстіе было радостное, но опять оно влекло за собою новыя осложненія въ его жизни, особенно послѣ объясненія съ Симонсономъ: и опять онъ не можетъ разобраться въ своихъ мысляхъ. Вспоминая объ этомъ въ теченіе дня, онъ задается вопросами о томъ, какъ она приметъ это помилованіе, какія у нея отношенія къ Симонсону, и т. п. „Вспомнилъ о той перемѣнѣ, которая произошла въ ней. Вспомнилъ при этомъ и ея прошедшее“. „Надо забыть, вычеркнуть“, подумалъ онъ и опять поспѣшилъ отогнать отъ себя мысли о ней. „Тогда видно будетъ“, сказалъ онъ себѣ и сталъ думать о томъ, что ему надо сказать генералу“ ¹. Какъ онъ ни борется съ собою, но вычеркнуть изъ памяти ея прошлое ему слишкомъ трудно; такъ же трудно, какъ съ мыслью объ этомъ прошломъ строить планы будущей совмѣстной жизни. Не менѣе трудно ему отрѣшиться и отъ собственнаго своего прошлаго и отъ тѣхъ привычекъ и потребностей, которыя привиты ему воспитаніемъ и жизнью его среды. Эти потребности послѣ долгаго лишенія сказались въ немъ теперь съ особою силою. Обѣдъ у генерала, начальника края, былъ очень пріятенъ ему. „Нехлюдовъ весь отдался удовольствію красивой обстановки, вкусной пищи, и легкости, и пріятности отношеній съ благовоспитанными людьми своего привычнаго круга“ ². Формы общежитія, выработан-

¹ Тамъ же. Стр. 564 — 565. ² Стр. 565.

ныя вѣками цивилизаціи, обмѣнъ мыслей съ людьми одного уровня умственныхъ интересовъ, хорошее исполненіе классической музыки, все это воздѣйствуетъ на Нехлюдова самымъ благопріятнымъ образомъ: онъ тутъ чувствуетъ то полное удовлетвореніе, — усиленное еще видомъ семейныхъ радостей дочери генерала, — которое заставляетъ на время молчать суровый голосъ его нравственныхъ требованій. Авторъ очень жестоко по отношенію къ своему герою подчеркиваетъ при этомъ то удовлетвореніе тщеславія и самолюбія, которое онъ испыталъ въ этомъ обществѣ. Хозяйка дома лестью своего приѣма произвела на него пріятное впечатлѣніе послѣ обѣда разговоръ съ нею и путешествующимъ англичаниномъ былъ интересенъ, потому что ему казалось, что „онъ хорошо высказалъ много умнаго замѣченнаго его собесѣдниками“; наконецъ, когда играли симфонію Бетховена, „Нехлюдовъ почувствовалъ давно не испытанное имъ душевное состояніе полного довольства собою, точно какъ будто онъ теперь только узналъ, какой онъ былъ хорошій человѣкъ“. „Слушая прекрасное анданте, онъ почувствовалъ щипаніе въ носу отъ умиленія надъ самимъ собою и всѣми своими добродѣтелями“¹. Но какими бы глупыми, мелкими ощущеніями ни сопровождалось удовлетвореніе привычныхъ потребностей культурнаго, эстетически-развитого человѣка, нѣтъ сомнѣній, что безъ этого удовлетворенія для Нехлюдова не можетъ быть полного счастья. А счастья

¹ Тамъ же. Стр. 568.

т. е. тѣхъ радостей, какія и общеніемъ съ людьми, и семейю, и искусствомъ, даются безъ напряженія, безъ мучительной борьбы во имя высшаго идеала, — личнаго счастья жаждетъ полная силъ и способностей природа Нехлюдова. „Я жить хочу, хочу семью, дѣтей, хочу человѣческой жизни“. Такимъ непроизвольнымъ порывомъ мелькнуло у него это ощущеніе, когда онъ тотчасъ послѣ обѣда увидалъ въ острогѣ Катюшу и испыталъ тяжелое непріязненное чувство. И она страдала, „лицо ея показалось ему сурово и непріятно. Оно опять было такое же, какъ тогда, когда она упрекала его“ ¹. Очевидно, на этомъ лицѣ отражалось воспоминаніе того прошлаго, которое и ее мучило. И тотчасъ же ему стало стыдно, какъ только онъ понялъ, что, продолжая любить его, она отказывается отъ него для его же блага; когда же она сказала ему то самое, что только что мелькнуло у него въ головѣ „и вамъ жить надо“, онъ почувствовалъ совсѣмъ другое. „Ему не только было стыдно, но жалко всего того, что онъ терялъ съ нею“ ². А терялъ онъ съ нею возможность того удовлетворенія, которое ему давало сознаніе подвига, совершаемаго во имя высшихъ нравственныхъ требованій. Сознаніе это, какъ мы уже видѣли, часто сопровождалось у него, точно такъ же какъ и успѣхи въ обществѣ, игрою самолюбія, горделивымъ самодовольствомъ. Потому и на этотъ разъ, при прощаньи съ Катюшею, больше всего страдаетъ его самолюбіе: онъ теперь оказался

¹ Стр. 571. ² Стр. 573.

лишнимъ тому, кому съ такою борьбою жертвовалъ всѣми радостями и наслажденіями культурной жизни; а женщина мало-развитая, съ прошлымъ, одна память о которомъ не могла не быть мучительна нравственно-требовательному человѣку, оказывалась великодушнѣе, способнѣе на самопожертвованіе, чѣмъ онъ. Оттого ему было грустно и стыдно, когда онъ потомъ вспоминалъ объ этомъ прощаньѣ. А въ ту минуту, когда она ушла, „онъ почувствовалъ только страшную усталость: онъ усталъ не отъ безсонной ночи, не отъ путешествія, не отъ волненія; онъ чувствовалъ, что страшно усталъ отъ всей жизни“¹. Въ этой жизни слишкомъ много было противорѣчій, борьбы съ собою, смѣны противоположныхъ чувствъ. Напримѣръ тутъ: онъ ѣхалъ отъ объѣда начальника края, гдѣ всѣ впечатлѣнія острога и Катюша съ ея прошлымъ казались ему сномъ, а не дѣйствительностью, и ему „хотѣлось себѣ такого же изящнаго, чистаго, какъ ему казалось теперь, счастья“², какъ то, которое онъ видѣлъ въ лицѣ счастливой молодой матери, показывавшей ему своихъ дѣтей. Но вотъ онъ пріѣзжаетъ въ острогъ; здѣсь онъ видитъ самоотверженную любовь Катюши и начинаетъ жалѣть о томъ, что она уходитъ, что онъ теряетъ съ нею свою высокую, чистую къ ней любовь. А между тѣмъ на высотѣ такой любви мучительно трудно было держаться его человѣческой природѣ. Природа его, какъ человѣка широко-развитого —

¹ Тамъ же. Стр. 574. ² Стр. 570.

очень сложная природа; а потому то, что въ ней удовлетворяетъ однимъ требованіямъ, оскорбляетъ другія равносильныя тѣмъ, и наоборотъ. Такъ, бракъ съ Катюшей удовлетворялъ высоко нравственную сторону природы, удовлетворялъ жажду подвига, самоотверженнаго служенія высшимъ идеаламъ; но онъ возмущалъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ неискоренимыя инстинкты, привитыя многолѣтнею культурою его аристократической природѣ. И онъ терзался бы этимъ раздвоеніемъ, и не преодолѣлъ бы его, если бы самоотверженность и здравый смыслъ Катюши не вернули ему свободу.

Теперь, покончивши съ нею, какъ съ личною цѣлью жизни, онъ можетъ отдаться тѣмъ общимъ вопросамъ, которые волновали его при видѣ насилія, жестокости и всяческаго страданія по этапамъ и острогамъ. Вопросъ „о дѣлахъ судовъ и наказаній,“ который возникъ у него, когда онъ понялъ на судѣ всю развратность своей жизни, — той жизни, какую однако вели всѣ люди его круга и не считали предосудительной, — этотъ вопросъ обоснованъ у него теперь шире, благодаря его близкому знакомству съ острожнымъ бытомъ. Смерть одного изъ политическихъ ссыльныхъ, чахоточнаго Крыльцова, совпадаетъ съ моментомъ его разставанья съ Катюшей и даетъ новый толчокъ его мысли. Прекрасный, симпатичный молодой человѣкъ, нравственныя качества котораго Нехлюдовъ цѣнитъ выше своихъ, является невинной жертвой жизненнаго зла и несправедливости; онъ умираетъ преждевременно, загубленный этимъ зломъ. Видъ его спокойно-неподвижнаго и страшно-прекраснаго лица, которое на

канунѣ еще Нехлюдовъ видѣлъ возбужденно-озлобленнымъ и страдающимъ, напоминаетъ Нехлюдову о вѣчномъ, неразрѣшимомъ вопросѣ бытія. „Зачѣмъ онъ страдалъ? Зачѣмъ онъ жилъ? Понялъ ли онъ это теперь? думалъ Нехлюдовъ, и ему казалось, что отвѣта этого нѣтъ, что ничего нѣтъ, кромѣ смерти, и ему сдѣлалось дурно“ ¹. Когда онъ вернулся къ себѣ, всѣ вопросы, возникавшіе въ немъ за послѣднее время и сводившіеся къ вопросу: кто правъ? онъ ли, протестующій противъ существующаго порядка вещей, или тѣ, кѣмъ держится и защищается этотъ порядокъ? Онъ ли сумасшедшій, они ли сумасшедшіе? Вопросъ этотъ опять возстаетъ передъ нимъ съ особою силою. Допустить законность зла, насилія, жестокости и разврата онъ не можетъ; всѣ силы ума и сердца протестуютъ противъ того. Но какъ оформить этотъ протестъ? Гдѣ найти тотъ смыслъ жизни, то положительное начало, на которомъ можно основать новую жизнь, устранивъ изъ нея зло и насиліе? Онъ открываетъ Евангеліе на томъ мѣстѣ (Матѣ. 18), гдѣ Христосъ учитъ, что надо умалиться, какъ дитя, чтобы войти въ Царство Небесное, учитъ прощать брату своему до седмижды-семидесяти разъ, и говорить притчу о зломъ рабѣ, которому господинъ простилъ долгъ его, а онъ не хотѣлъ простить должнику своему. Поученіе это какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ тому сознанію своей грѣховности и виноватости, тому чувству жалости и состраданія, ко-

¹ Тамъ же. Стр. 579.

тория вытекаютъ изъ человѣколюбія Нехлюдова; соответствуетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и тому основному закону человѣческихъ отношеній,—взаимной любви,—который былъ имъ открытъ передъ отъѣздомъ въ Сибирь. „Вспомнивъ все безобразіе нашей жизни, онъ ясно представилъ себѣ, чѣмъ могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на Евангеліи, и давно не испытанный восторгъ охватилъ его душу. Точно онъ, послѣ долгаго томленія и страданія, нашелъ вдругъ успокоеніе и свободу“¹. Вчитываясь въ Евангеліе, онъ нашелъ въ Нагорной проповѣди „простые, ясные и практически-исполнимые законы, которые, въ случаѣ исполненія ихъ (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человѣческаго общества, при которомъ не только само собою уничтожалось все то насиліе, что такъ возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее, доступное человѣчеству благо,—Царствіе Божіе на землѣ“. — „Съ этой ночи для Нехлюдова началась совсѣмъ новая жизнь, не столько потому, что онъ вступилъ въ новыя условія жизни, а потому, что все, что случилось съ нимъ съ этихъ поръ, получило для него совсѣмъ иное, чѣмъ прежде, значеніе. Чѣмъ кончится этотъ новый періодъ его жизни,—покажетъ будущее“.

Такими словами заканчивается романъ гр. Толстого. Слѣдовательно, только будущее можетъ показать, какъ сумѣетъ Нехлюдовъ провести въ дѣйствительность найденный имъ идеалъ жизни. Самъ

¹ Тамъ же, стр. 579—580.

онъ вѣрить въ его достижимость: въ этомъ и заключается его воскресеніе. Для него полнота и счастье жизни — въ согласіи его поступковъ и совѣсти, въ подчиненіи всего себя тому непосредственному и глубокому сердечному чувству, которое онъ обставилъ разсудочными доводами и подкрѣпилъ текстомъ Евангелія. Но создастъ-ли это чувство, этотъ обличительный голосъ совѣсти, такъ негодующе отрицающій весь существующій строй общества, создастъ-ли это ученіе, вытекшее изъ состраданія и человѣколюбія и изъ субъективнаго толкованія Евангелія, — дѣйствительное воскресеніе и воскресеніе для всякой души человѣческой? — Иначе говоря, возможно ли на этомъ ученіи основать ту новую жизнь, изъ которой будетъ устранено зло, неправда, страданія, все то, что нарушаетъ свободу, полноту и радость жизни? Разсмотрѣніе въ общемъ этого вопроса сводится къ критикѣ вѣроученія гр. Толстого и не можетъ входить въ мою задачу. Но въ частности, если мы спросимъ себя: найдетъ ли самъ герой гр. Толстого удовлетвореніе всѣмъ запросамъ своей души въ томъ исключительномъ культѣ нравственныхъ началъ жизни, которымъ завершаются его исканія? — мы должны будемъ сказать: нѣтъ, не найдетъ.

Нехлюдовъ, въ изображеніи гр. Толстого, является страстно-воспримчивою натурою эстетическаго склада, натурою художническою настолько широкою, что онъ, если и сумѣетъ отказаться отъ всѣхъ потребностей личной жизни и отъ многихъ радостей и наслажденій культурнаго человѣка, то

наврядъ ли найдетъ въ этомъ свое счастье; наврядъ ли онъ найдетъ полноту жизни—въ „подвижничествѣ“, въ удовлетвореніи однихъ этическихъ потребностей своей природы. Что онъ нашелъ незыблемое начало для своихъ отношеній къ людямъ,—мы вѣримъ; что для него смыслъ жизни лежитъ внѣ цѣлей одного только личнаго существованія,—несомнѣнно; но трудно вѣрить, что всѣ запросы его духа, — ума, сердца и фантазіи — могутъ быть вдвинуты въ тѣ рамки, которыми онъ хочетъ ограничить свою жизнь. Уже въ достиженіи частной цѣли своего подвига,—въ спасеніи Катюши, — мы видѣли, съ какими онъ встрѣчался внутренними препятствіями: мы видѣли, какую силу имѣли надъ нимъ дружескія, родственныя связи, и не только красота и кокетство женщинъ, но красота, легкость и пріятность внѣшней обстановки; — мы видѣли, какое обаяніе было для него вообще въ утонченныхъ формахъ жизни, выработанныхъ культурою; и какъ онъ вынужденъ былъ бороться съ своими привычками къ этимъ формамъ — этими неискоренимыми свойствами культурнаго чловѣка въ себѣ. Мы можемъ теперь ожидать, что точно также, и въ стремленіяхъ къ общимъ цѣлямъ своей новой жизни, онъ встрѣтилъ тѣ же препятствія; не извнѣ только, въ существующихъ условіяхъ общественной жизни, но внутри самого себя. И онъ будетъ бороться съ собою, мучиться этою борьбою, падать и подниматься... Такимъ образомъ, тотъ періодъ внутренней борьбы, который изображенъ гр. Толстымъ, не заканчивается для

внимательнаго читателя послѣднею главою романа. А та смѣна подъёмовъ духа и паденій, которая составляетъ главное дѣйствіе „Воскресенія“, не завершается для насъ послѣднимъ подъёмомъ — восторгомъ, который при чтеніи Евангелія охватилъ душу Нехлюдова и далъ ему „успокоеніе и свободу“.

Впрочемъ, если даже мы и повѣримъ, что это успокоеніе окончательное, мы все-таки не увѣрены въ его воскресеніи, мы боимся для него новой опасности, новой нравственной смерти: въ немъ можетъ теперь сложиться человѣкъ типа Новодворова, этого отъ природы уже мертвaго человѣка, чуждаго всякаго живого и животворнаго чувства. Допустимъ, что Нехлюдовъ вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы и съ культурными инстинктами, и съ умственными, эстетическими сторонами своей природы; допустимъ, что въ подвижничествѣ онъ нашелъ свое счастье, а въ Евангеліи — ту истину, которая освѣтитъ всю жизнь и раскроетъ всѣ ея тайны; не окажется ли онъ теперь въ положеніи Новодворова, которому все было просто, ясно, несомнѣнно? Новодворову все просто, ясно, несомнѣнно было въ жизни оттого, что въ его натурѣ не было свойствъ нравственныхъ и эстетическихъ, которыя вызываютъ сомнѣнія и колебанія, — а вся внутренняя его жизнь исчерпывалась разсудочностью и самолюбіемъ. Но во что обратится внутренняя жизнь Нехлюдова, когда въ немъ смолкнутъ всѣ сомнѣнія, когда ко всему человѣческому онъ приложитъ одну только мѣрку и на всѣ слож-

ныя проявленія человѣческаго ума, воли и фантазіи у него установится одинъ взглядъ, одна моральная точка зрѣнія? Не разрастется ли, когда онъ почувствуетъ себя въ обладаніи истиною, до крайнихъ предѣловъ самолюбіе, — это существенное свойство его натуры, такъ безпощадно изобличаемое въ немъ авторомъ?—Мы видѣли, какъ онъ боролся съ своимъ высокомѣріемъ, гордостью, тщеславіемъ; онъ боролся съ собой пока стремился къ истинѣ, пока искалъ ее и сознавалъ свои слабости и недостатки. Но вотъ истина найдена, и ему, какъ Новодворову, все стало просто, ясно, несомнѣнно; себя, свои инстинкты онъ этой истинѣ подчинилъ; теперь надо проводить ее въ жизнь, надо другимъ внушать ее, надо поучать, проповѣдывать, надо властвовать надъ умами. Не приметъ ли при этомъ его высокомѣріе такіе размѣры, какіе заглушаютъ непосредственный инстинктъ любви, жалости и состраданія—этотъ источникъ его новыхъ вѣрованій? Не сдѣлаетъ-ли самолюбіе его снова тѣмъ эгоистомъ, какимъ его дѣлала жизнь его среды? только теперь уже безсознательнымъ эгоистомъ, слѣдовательно, и безъ надежды на воскресеніе. Нѣкоторый намекъ на то, какъ Нехлюдову не трудно превратиться въ фанатика высокомѣрнаго и нетерпимаго, мы имѣемъ въ характеристикѣ ¹ его отношеній къ сестрѣ. Нехлюдовъ не можетъ сохранить къ сестрѣ прежней нѣжной дружбы, потому что она измѣнила ихъ общимъ юношескимъ стремленіямъ и

¹ Тамъ же. Стр. 424 — 440.

вышла замужъ за человѣка, котораго страстно полюбила и который, бѣдностью своей природы и отсутствіемъ независимыхъ нравственныхъ убѣжденій, крайне антипатиченъ, даже ненавистенъ Нехлюдову. Съ этимъ человѣкомъ онъ не можетъ въ разговорѣ воздержаться отъ рѣзкости, оскорбительной для сестры и для зятя; онъ сознаетъ свою несправедливость къ нимъ, стыдится, раскаявается, старается загладить рѣзкость. Но эти добрыя чувства онъ проявляетъ теперь, пока тщательно наблюдаетъ за собою, пока только и занимается, что собою и своими чувствами; — теперь, пока онъ еще рѣдко встрѣчаетъ извнѣ отпоръ своимъ убѣжденіямъ. Но въ послѣдствіи, когда этотъ отпоръ будетъ ему даваться чаще и сильнѣе, а самъ онъ меньше будетъ заниматься собою, сохранить ли онъ тогда добрыя чувства къ своимъ противникамъ? Сохранить ли онъ эту искусственно имъ вырабатываемую въ себѣ кротость и терпимость, когда онъ поведетъ борьбу не съ собою только, но и съ людьми, въ большинствѣ похожими на его зятя? Если признать, что въ обществѣ чаще всего преобладаетъ то, что Нехлюдову такъ ненавистно въ зятѣ, именно косность разъ установленныхъ взглядовъ и корыстные инстинкты ограниченной, вульгарной природы, — то нельзя не усомниться въ дальнѣйшихъ успѣхахъ кротости и терпимости Нехлюдова. Можно думать, наоборотъ, что — послѣ того, какъ его новыя убѣжденія примутъ окончательную форму и приведутъ его въ столкновеніе съ дѣйствительностью, — самая горячность этихъ убѣжденій сдѣла-

ютъ изъ него фанатика, узкаго, глухого къ живымъ чувствамъ, умершаго для той любви и для того всепрощенія, которыя положены имъ въ основу его вѣры.

Вотъ поэтому, разставаясь съ Нехлюдовымъ, мы не можемъ быть увѣрены въ его судьбѣ: если борьба въ душѣ его будетъ продолжаться и если новая вѣра не одолѣетъ всѣхъ противодѣйствующихъ ей инстинктовъ, — природныхъ и культурныхъ, — то душѣ этой нѣтъ мира, нѣтъ радости, нѣтъ воскресенія. А если борьба закончится побѣдою новой вѣры, торжествомъ подвижничества, то вся полнота жизни, съ ея радостью и красотой, сократится и сѣзится, а всѣ силы души сведутся къ однимъ нравственнымъ требованіямъ. И въ этомъ тоже нѣтъ воскресенія, не можетъ быть полного, истиннаго удовлетворенія живой душѣ. Поэтому-то мы и не можемъ довѣрять тому будущему, къ которому авторъ насъ отсылаетъ. А это недоувѣріе, эти опасенія и сомнѣнія, возбуждаемые въ читателѣ судьбою героя, придаютъ общему впечатлѣнію романа ту же неясность и неопредѣленность, какую мы видѣли и въ заключеніи драматическаго эпилога Ибсена. Тамъ послѣ страданій духовной смерти констатируется загадочная красота земной жизни; ея разгадка, полнота жизни, истинное наше воскресеніе, — ожидается отъ невѣдомаго будущаго; въ настоящемъ же, въ силу роковыхъ свойствъ и особенностей нашей природы, обновленіе жизни оказывается неосуществимымъ. А гр. Толстой, въ лицѣ Нехлюдова, вѣритъ въ оеуществимость воск-

ресенія, т. е. въ достижимость того идеала, который онъ устанавливаетъ. Какъ создатель и проповѣдникъ самобытнаго религіознаго ученія, онъ и не можетъ не вѣрить; не можетъ и не дать своему герою то успокоеніе и освобожденіе, какое находятъ въ этомъ вѣроученіи его послѣдователи. Но гр. Толстой не только проповѣдникъ: онъ въ то же время художникъ,—т. е. острый, чуткій наблюдатель, глубокій сердцеѣдъ; онъ не можетъ потому не надѣлать Нехлюдова такими свойствами, которыми дѣлаютъ его не сухою, назидательною иллюстраціею къ тексту проповѣди, а живымъ лицомъ, близкимъ и понятнымъ читателю. Это-то живое лицо полнотою своихъ силъ и дарованій и подрываетъ въ насъ вѣру въ свое воскресеніе, въ свой идеаль жизни, а, слѣдовательно, и въ возможность этимъ идеаломъ обновить нашу жизнь со всѣмъ ея зломъ и страданіемъ.

Сходство общаго впечатлѣнія, получаемаго читателемъ отъ романа гр. Толстого и отъ драмы Ибсена, вытекаетъ изъ самаго свойства ихъ сюжета. Оба писателя ставятъ себѣ задачей намѣтить тотъ общій идеалъ жизни, который удовлетворилъ бы присущую ихъ творчеству потребность правды и свободы. Оба религіозно-возвышенны въ своихъ стремленіяхъ и потому будничныи эпизодъ жизни, — исторію женщины загубленной мужскимъ эгоизмомъ, — связываютъ съ общимъ міропониманіемъ своихъ героевъ; и не только съ ихъ отношеніемъ къ людямъ и къ обществу, но съ основнымъ вопросомъ о цѣли и смыслѣ жизни. Замѣчательно при этомъ, что у обоихъ поэтовъ „власть звѣря“ въ міропониманіи ихъ героевъ, т. е. матеріалистическое направленіе мысли, стоитъ на первомъ планѣ. У художника Рубека этотъ матеріализмъ, выражаясь въ творческихъ образахъ, сказывается безплодіемъ его фантазіи и тоскливостью его общаго настроенія; но

не матеріалізмъ является причиною его эгоистическаго отношенія къ людямъ. А у Нехлюдова, какъ у человѣка живущаго не только фантазією, но умомъ и чувствомъ, матеріалізмъ его возрѣній выражается практически-дѣятельно культомъ своихъ эгоистическихъ и чувственныхъ инстинктовъ; культъ этотъ онъ заимствуетъ у всего окружающаго его общественнаго строя и доходитъ, благодаря ему, до „сумашествія эгоизма“, т. е. до преступленія и нравственной смерти. Хотя у Ибсена погибель женской души не зависитъ отъ міропониманія Рубека, но такъ же, какъ у гр. Толстого, культъ „звѣря“—признаніе власти его надъ собою и надъ жизнью человѣчества, — лишаетъ Рубека настоящей свободы и радости, дѣлаетъ его мертвымъ человѣкомъ. Воскресеніе для него, какъ и для Нехлюдова, состоитъ въ возвращеніи къ тѣмъ возрѣніямъ молодости, въ которыхъ власть матеріи и власть среды не имѣли первенствующаго значенія. Въ обоихъ это возвращеніе къ юношескому идеализму вызывается любовью къ женщинѣ, возвращеніемъ къ ихъ первой, лучшей, чистой любви.

Такимъ образомъ Рубека и Нехлюдова, вмѣстѣ съ ихъ склонностью къ матеріализму, роднятъ между собою тѣ идеалистическіе порывы, которые въ заключеніе приводятъ ихъ къ новому міропониманію. И въ этихъ идеалистическихъ порывахъ сказалась у обоихъ писателей коренная разница въ замыслѣ и въ обработкѣ общей ихъ темы, разница, вытекающая изъ основного антагонизма ихъ мысли и характера.

У гр. Толстого героя его поднимает надъ жизнью чуткость и утонченность его совѣсти, сила добра, самой природою заложенная въ его душу; это—тотъ инстинктъ, въ которомъ и онъ, и самъ авторъ видятъ „свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вѣчно“. Этотъ восторгъ добра и эта вѣра въ божественность личной совѣсти вытекаютъ изъ того же источника, какъ и чувства состраданія, чело-вѣколюбія и всепрощенія, на которыхъ должны быть основаны чело-вѣческія отношенія. У гр. Толстого подъемъ духа его героя—моментъ этический; у Ибсена—эстетическій. Художникъ Рубекъ тоже испыты-ваетъ восторгъ; но это—восторгъ красоты и твор-чества, а не добра и чело-вѣколюбія. Этихъ чувствъ совершенно лишена натура Рубека, художника, чуждаго живой полноты чело-вѣческаго суще-ствования. Сердечной сухостью своего героя Иб-сенъ предрѣшаетъ и роковую судьбу его: онъ не можетъ воскреснуть; въ моменты даже выс-шаго подъема духа онъ только художникъ, а чув-ствомъ творчество его было согрѣто тогда, когда онъ вдохновлялся Иреною и ея любовью. Безъ нея его мечты и идеальныя порывы разбиваются о матеріализмъ его новыхъ воззрѣній, разбиваются и самою дѣйствительностью; творчество его мель-чаетъ и не даетъ радости: жизнь безъ вѣры и безъ любви не даетъ счастья. А Ирена, любя его и раздѣляя его порывы, хотя и вносила въ нихъ силу своего горячаго чувства, но и она не знаетъ непосредственной доброты сердца; прощать она не

умѣть: даже въ порывѣ всеильной страсти къ своему господину и повелителю она не можетъ забыть обиды; ее не покидаетъ мстительное ея озлобленіе. Героямъ Ибсена евангельская добродѣтель милосердія и всепрощенія не знакома. Оттого они и не жизнеспособны: они воскресаютъ для того только, чтобы понять, насколько они мертвы, т. е. далеки отъ живой жизни, насколько ихъ гордые стремленія обмануты жизнью и какъ далеко то будущее, которому суждено удовлетворить ихъ! Юношескій мечтательный идеализмъ замѣнился у нихъ знаніемъ жизни, а у Рубека и тѣмъ матеріализмомъ, который, отравивъ ему душу, долженъ уступить въ свою очередь мѣсто новымъ идеаламъ, примиряющимъ зрѣлую мысль съ порывами къ свободѣ и красотѣ. На чемъ можетъ состояться это примиреніе? Чѣмъ разрѣшится противорѣчіе мечты и зрѣлой мысли, мечты и знанія?—авторъ не говоритъ. Земная жизнь прекрасна для поэта своею загадочностью; а разгадка ея—внѣ существующаго настоящаго, внѣ самой жизни!

Съ скептицизмомъ хотя и возвышеннымъ скандинавскаго поэта не мирится та дѣятельная любовь, проповѣдникомъ которой,—и въ вѣроученіи своемъ и въ творествѣ, — является гр. Толстой. Его герой возвращается тоже къ юношескимъ чувствамъ и находитъ въ нихъ свое воскресеніе, возможность новой, лучшей жизни не только для себя, но и для всего общества. Эти чувства добра и человѣколюбія не даютъ въ немъ власти звѣрю, т. е. эгоистическимъ, чувственнымъ сторонамъ природы; но это же приводитъ его и въ противорѣчіе со всею окру-

жающею его жизнью, потому что вся жизнь въ изображеніи гр. Толстого находится подъ властью звѣря, т. е. управляется чувственными матеріальными интересами, только извнѣ прикрытыми формами христіанской морали. Оттого, когда Нехлюдовъ поступаетъ, „какъ всѣ“, онъ заглушаетъ въ себѣ голосъ божества и чувствуетъ себя несчастнымъ въ разладѣ съ собою; когда же онъ слушается голоса совѣсти, онъ въ разладѣ съ обществомъ, со „всѣми“. Для примиренія этого разлада надо, чтобы „всѣ“, чтобы все общество прониклось тѣми чувствами добра и любви, которыя Нехлюдовъ нашелъ въ своемъ сердцѣ. Если вся жизнь будетъ построена на этихъ чувствахъ, такъ ясно выраженныхъ въ Евангельскомъ ученіи, то все зло, неправда, насиліе и проистекающія отсюда страданія, будутъ устранены... Такъ оно представляется Нехлюдову, когда онъ, подавленный впечатлѣніями жестокости и злобы, находитъ новый идеалъ жизни въ тѣхъ юныхъ чувствахъ, гдѣ сила добра сопровождалась незнаніемъ дѣйствительности, незнаніемъ истинной природы человѣка. Такимъ образомъ, тотъ конфликтъ зрѣлаго опыта и юношескихъ порывовъ, конфликтъ знанія и мечты, который у Ибсена не можетъ разрѣшиться въ настоящей жизни, у гр. Толстого принимаетъ форму конфликта между общественнымъ зломъ и личною совѣстью, или между дѣйствительностью и сердечнымъ чувствомъ, и разрѣшается въ пользу чувства вѣрою въ торжество добра и человѣколюбія, вѣрою въ Царство Божіе на землѣ.

Если бы, для выясненія обоихъ великихъ писателей, властителей думъ современной Европы, мы захотѣли свести ихъ сложную фізіономію къ немногимъ, самымъ общимъ чертамъ, то антагонизмъ ихъ мысли и характера выразился бы какъ антагонизмъ натуры созерцательной и натуры дѣятельной. Ибсенъ,—натура созерцательная,—видитъ страданія жизни и констатируетъ ея зло, какъ несоотвѣтствіе дѣйствительности съ тѣмъ идеаломъ истины и красоты, который живетъ въ его душѣ. Онъ обличаетъ ложь, негодуетъ на косность и лицемеріе общества, но онъ ничему не учитъ, не выводитъ никакого правила жизни изъ своего обличенія и негодованія. Задаваясь вопросами о цѣли и назначеніи человѣка на землѣ, онъ ищетъ отвѣта внутри его индивидуальной душевной жизни; но въ широкомъ многообразіи этой жизни мысль созерцателя не находитъ *одного* спасительнаго начала. Онъ видитъ тайну, которою эта жизнь окружена; онъ видитъ противорѣчія нашей сложной природы,—борьбу въ душѣ между умомъ и сердцемъ, или сердцемъ и фантазією,—борьбу эстетическихъ и этическихъ началъ жизни; и для него, при условіи настоящаго нашего существованія на землѣ, эта борьба — безъ разрѣшенія, безъ исхода. Для художника непримиримыя противорѣчія жизни, какъ игра контрастовъ, — свѣта и тьмы, добра и зла,—составляютъ загадочную красоту въ мірѣ природы и человѣка. Но Ибсену дорога не одна только красота; онъ стремится къ истинѣ, онъ жаждетъ правды и свободы человѣческихъ отношеній. И въ

этомъ стремленіи, съ высоты своего идеалистическаго порыва, онъ видитъ, какъ самое понятіе о правдѣ и свободѣ измѣняется въ людяхъ; онъ и рисуетъ смѣну идеаловъ въ душѣ отдѣльнаго человека, смѣну истинъ въ каждомъ новомъ поколѣніи. Онъ видитъ, какъ старѣютъ эти мелкія истины, какъ условна та правда, которою мы руководимся въ нашей повседневности; и онъ дорожитъ не этою практическою, повседневною правдою жизни, а тою вышею истиною, единою, вѣчною, безусловною, которая, раскрывая тайну жизни, миритъ собою всѣ противорѣчія. Но эта истина недоступна людямъ на землѣ. И оттого изображая глубокій разладъ нашей внутренней жизни, Ибсенъ довольствуется или одними вопросами, или туманно-неопредѣленными, гадательными чаяніями будущаго. Оттого-то и творчество его говоритъ больше всего уму и фантазіи читателя: возбуждая и напрягая наше воображеніе, Ибсенъ заставляетъ насъ задумываться надъ тѣми неразрѣшимыми вопросами, которые онъ ставитъ своими драмами;—онъ заставляетъ насъ самостоятельно, путемъ или личнаго опыта жизни, или индивидуальнаго чувства, искать ихъ разрѣшенія въ настоящемъ, такъ какъ съ вопросами въ душѣ мы не можемъ быть дѣтельными участниками жизни: на эти вопросы намъ нуженъ такой отвѣтъ, какимъ мы могли бы руководиться въ нашихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ.

Натура дѣятельная основной вопросъ жизни—о смыслѣ и цѣли ея—не можетъ оставить безъ разрѣшенія въ настоящемъ; потому и отношеніе

ея къ тайнѣ, окружающей наше существованіе, совершенно иное, чѣмъ у натуры созерцательной. Юношѣ - Нехлюдову „міръ божій представлялся тайной, которую онъ радостно и восторженно старался разгадывать“, для Нехлюдова, созрѣвшаго въ опытѣ жизни, тайна въ общемъ осталась неразгаданною, но ему объяснилось въ ней самое главное, — то, чѣмъ онъ могъ руководиться въ своей дѣятельности: — объяснилось его личное участіе въ этой тайнѣ, его назначеніе на землѣ. Назначеніе это — исполнять волю Хозяина, написанную въ его совѣсти и подтвержденную ему Евангеліемъ. Выполненіе этого назначенія предъявляетъ строгія требованія и къ самому себѣ и къ обществу; чтобы исполнить волю Хозяина, надо отказаться отъ „звѣря“ не только въ себѣ, но и во всей жизни человѣческой; надо тѣмъ самымъ отказаться отъ общественной культурной жизни, гдѣ такъ неразрывно тѣсно духовное сплетено съ тѣлеснымъ, гдѣ почти всегда идеальныя блага идутъ объ руку съ матеріальными; надо, слѣдовательно, отрѣшиться отъ всего прошлаго, завѣщаннаго намъ цивилизаціею, надо для этого пересоздать и человѣка, воспитаннаго этимъ прошлымъ... И это — во имя любви къ человѣку. Любовь къ человѣку, предписывается волею Хозяина. Любовь и есть то единое спасительное начало жизни, которое миритъ дѣятельную натуру гр. Толстого съ тайной жизни на землѣ, съ тайною ея цѣли и назначенія. Для него зло и страданія проистекаютъ отъ несоотвѣтствія между дѣйствительностью и тѣми нача-

лами добра и любви, которая онъ чувствуетъ въ своей совѣсти. Но мысль его не довольствуется обличеніемъ этого несоотвѣтствія и воспроизведеніемъ его въ художественномъ творествѣ: онъ хочетъ дѣятельно, въ самой дѣйствительности осуществить эту правду и это добро. И его горячность въ поискахъ правды, осуществимой на землѣ, сила его ненависти къ неправдѣ и злу, не позволяетъ ему считаться съ тѣми непримиримыми противорѣчіями, которые онъ самъ такъ правдиво изображаетъ въ натурѣ Нехлюдова. Онъ заставляетъ Нехлюдова всю сложность своей природы подчинить — человѣколюбію. Въ человѣколюбіи, какъ въ голосѣ совѣсти, воспринятомъ и разработанномъ разсудкомъ, Нехлюдовъ нашелъ правду, устраняющую много зла и страданій, много насилія и несправедливости; и онъ держится за эту правду всѣми силами души, хотя бы она приводила его въ столкновеніе съ основными свойствами его личной природы и съ основными законами общественной жизни. Онъ вѣритъ, что въ этой правдѣ заключены тѣ „простые, ясные, практически-исполнимые законы,“ благодаря которымъ достигается „высшее, доступное человѣчеству благо — Царствіе Божіе на землѣ“. Обладая такою правдою, онъ не можетъ не распространять ее. И г-н. Толстой не можетъ, любя человѣка, не дѣлиться съ нами тѣмъ, что даетъ ему высшее благо; онъ и въ художественномъ творествѣ не можетъ не учить, въ чемъ правда и спасеніе, въ чемъ ложь и гибель. Изображая намъ душевную драму Нехлюдова, онъ, въ сущ-

ности, изображаетъ только ту борьбу любви и эгоизма, добра и зла, которая въ томъ, или иномъ видѣ и въ большей, или меньшей степени зачастую переживается каждымъ изъ насъ. Оттого эта драма ближе и понятнѣе читателю, чѣмъ внутренній міръ Рубека съ его высокими творческими мечтами и съ переживаемою имъ смѣною противоположныхъ міровоззрѣній.

Оттого и все творчество гр. Толстого популярнѣе, доступнѣе большинству, чѣмъ поэзія Ибсена. Ибсенъ говоритъ отвлеченной мысли и фантазіи читателя; гр. Толстой обращается къ нравственнымъ инстинктамъ читателя и къ тѣмъ логическимъ доводамъ, при помощи которыхъ эти инстинкты оправдываются сознаниемъ и переходятъ въ дѣйствія: поучая и наставляя читателя, гр. Толстой говоритъ его чувству и разуму. Но воздѣйствуетъ онъ на читателя не столько силою разсудочной логики, сколько силою своего собственнаго горячаго чувства. А если эта сила, проявляясь иногда пыломъ негодованія противъ всякой лжи, можетъ ослѣплять учителя, борца за правду, то она же даетъ ему и власть надъ умами современниковъ. Современники могутъ не заражаться его ослѣпленіемъ, могутъ не соглашаться съ иными выводами его ученія, но они не могутъ не преклоняться передъ высокимъ, чистымъ источникомъ, изъ котораго вытекло это ученіе, — передъ жаромъ и искренностью сердечнаго чувства.

Дѣятельное чувство гр. Толстого и созерцательная мысль Ибсена — вотъ что, въ общихъ чер-

тахъ, составляетъ антагонизмъ природнаго характера у двухъ великихъ художниковъ слова, занявшихъ въ концѣ истекшаго вѣка первенствующее положеніе въ міровой литературѣ. У обоихъ этотъ характеръ выразился въ двухъ различныхъ областяхъ художественнаго творчества съ могуществомъ и яркостью ихъ индивидуальнаго таланта, и оба приобрѣли свое вліяніе на мысль всего міра тѣмъ, что независимо и самобытно подошли къ тѣмъ глубокимъ вопросамъ, которые наэрѣли въ настроеніи всего человѣчества. Подвергнувъ критикѣ и отрицанію весь существующій строй общественной жизни, оба углубились въ изслѣдованіе индивидуальной совѣсти человѣка и остановились съ особымъ вниманіемъ на вопросѣ личной нравственности. А этотъ вопросъ привелъ ихъ къ воспроизведенію того трагическаго перелома мысли, который они сами пережили и который вмѣстѣ съ ними переживало не одно поколѣніе русскихъ и западныхъ умовъ. У обоихъ смѣна міровоззрѣній и поиски новаго идеала жизни сказались мучительною борьбою знанія и вѣры, болѣзненнымъ разладомъ сердца и разума. Дѣятельное чувство русскаго писателя вынесло изъ этого перелома новую вѣру, свою, субъективную, независимую, а созерцательная мысль скандинавскаго драматурга установила критическое отношеніе къ настоящему и указала туманную перспективу будущаго. Кто же правъ изъ нихъ? Для современниковъ ихъ, для тѣхъ, кто воспитанъ нравственнымъ воздѣйствіемъ ихъ мысли и ихъ геніальнаго творчества, вѣра одного и скептицизмъ дру-

гого имѣютъ одинаковыя права на признательное и вдумчивое изученіе; потому что. оба внесли все богатство своего духовнаго міра въ умственное достояніе человѣчества, оба горячо отзывались на недуги своего времени, и искали имъ облегченія. Кто изъ нихъ былъ ближе къ истинѣ, — къ той единой, вѣчной, безусловной истинѣ, къ которой оба шли столь несхожими путями, — покажетъ будущее: на это будущее ссылаются и они сами, завершая указаніемъ на него воскресеніе своихъ героевъ.

К О Н Е Ц Ъ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Введение	1
I. Жизнь	11
II. Смерть.	25
III. Эволюція Ибсена.	41
IV. Воскрешеніе Катюши	57
V. Воскресеніе у Ибсена	79
VI. Подвигъ Катюши	105
VII. Воскресеніе Нехлюдова	119
Заключеніе	143

